

Мэ Мария Метлицкая

— Рассказы разных лет —



Бабу лето

Мария Метлицкая
Бабье лето (сборник)

«ЭКСМО»

2016

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Метлицкая М.

Бабье лето (сборник) / М. Метлицкая — «Эксмо», 2016

ISBN 978-5-699-85984-9

Все мы знаем, как это бывает – серость и непроглядная хмарь в один момент сменяются солнцем. И вот уже листва на деревьях высохла и заиграла яркими цветами, и небо опять голубое, и депрессия, тоска отступают. Хочется дышать полной грудью, «жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытья». Это чудо имеет название – бабье лето. Природа словно учит нас: не надо терять надежду, нельзя ставить крест на своей судьбе. Счастье обязательно придет – неожиданно, в одночасье. И тоска будней сменится праздником – ведь это в наших силах: разглядеть свое счастье.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-85984-9

© Метлицкая М., 2016
© Эксмо, 2016

Содержание

Запах антоновских яблок	6
Бабье лето	21
Беспокойная жизнь одинокой женщины	37
Триумвират	45
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Мария Метлицкая

Бабье лето (сборник)

© Метлицкая М., 2016

© Оформление. ООО Издательство «Э», 2016

Запах антоновских яблок

Нина Ивановна Горохова на судьбу не роптала и несчастной себя не считала – не тот характер. Да и к тому же всю жизнь ей внушали, что судьба ей ничего не должна.

Ко всему, что случалось в ее жизни, Нина Ивановна относилась с глубоким пониманием и почти равнодушием – ну значит, так!

Характер у нее был спокойный, рассудительный, стойкий. В истерики не впадала и подарков от судьбы не ждала.

Нормальная русская женщина.

Родители, активные строители коммунизма и светлого будущего, шли по жизни с энтузиазмом – иногда, казалось, с чрезмерным.

Сложности быта переживались просто и с юмором. Родители работали на заводе, вставали рано и были всему снова рады – даже хмурому дождливому утру.

Отец напевал что-то бодрое, громко фыркая над раковиной, мама на полную громкость включала радио и жарила большую яичницу.

Вылезать из теплой постели не хотелось, но было стыдно – она, видите ли, нежится, а родители давно бодрячком.

Когда Нина приходила из школы, на плите всегда стояли щи и котлеты с макаронами. Ну или с гречкой. На балконе остужалась банка бледно-розового киселя.

Мама говорила, что компот – баловство. А кисель – это еда. Особенно с хлебом. Еще мама говорила: «Едим без деликатесов, зато голодных у нас не бывает».

На лето Нину отправляли в деревню к бабушке. Она ходила за коровой, выпасала гусей и кормила кроликов. В августе ходили по грибы и за горохом на колхозное поле.

Горох хотя и был колхозным, государственным, собирали его все, вся деревня. И стыдно никому не было. Гороха-то море! И нам хватит, и государству останется!

Его сушили на зиму – для супа и каши, а бабушка еще варила и гороховый кисель. Ничего, кстати, вкусного! Грибы солили, из кроликов и гусей делали тушенку.

В конце августа приезжали отец с матерью, неделю «балдели», а потом сосед Петька, водитель грузовика, за трешку отвозил их на станцию. Половина кузова была заставлена банками и мешками.

Нине было неловко, когда все эти несметные баулы загружались в поезд. Но родители были счастливы.

– Теперь продержимся! – счастливо улыбался отец, поглаживая крупной рабочей ладонью мешки с картошкой и яблоками.

Нина, краснея, отворачивалась к окну.

В восьмом классе к ним пришла новенькая. Звали девочку Ингой.

Кроме необычного и красивого имени, у Инги были распущенные светлые волосы, перехваченные эластичной фиолетовой лентой, лаковые туфельки с пряжкой. И еще – полное презрение к одноклассникам мужского пола.

Посадили новенькую с Ниной. Та была счастлива, но тщательно это скрывала. На большой перемене все сорвались в столовую.

Все, кроме Инги. Из класса выходить она, похоже, не собиралась. Инга вытащила из портфеля румяное яблоко и зашелестела фольгой от шоколадки.

– А обедать, – робея, спросила Нина, – ты не пойдешь?

Инга с удивлением глянула на нее и брезгливо скривила губы.

– Щи хлебать? – с презрением уточнила она. – И перловую кашу?

Нине очень хотелось и щей, и каши, но она растерялась и тоже в буфет не пошла.

Достала учебник по физике и стала его листать.

Инга отломил кусок шоколадки, протянула соседке и достала из портфеля журнал мод с яркими картинками.

После школы Нина пошла провожать новенькую.

Инга рассказывала, что новую квартиру она не полюбила – далеко от центра, от потолка пахнет побелкой, да и вообще – это что, потолки?

– Что – «потолки»? – не поняла Нина. – В каком это смысле?

– Низкие, – вздохнула Инга. – Вот в Ленинграде у нас были, – она взмахнула рукой, – метров пять, не меньше! И все с лепниной! Дом графини Незнамовой, слышала?

Нина не слышала ни про дом, ни про графиню, ни про потолки в пять метров, да еще и с лепниной.

Инга рассказывала, что отца перевели в столицу, никто этому не рад, потому, что «Москва – не Питер, понятно? Деревня!»

Нина кивнула, ничего не поняв. Но спорить ей не хотелось.

– Зайдем ко мне? – предложила Инга, и Нина с трепетом и радостью согласилась.

В полутемном коридоре пахло кофе и горьковатыми духами.

Из комнаты доносился чей-то приглушенный и низкий смех.

– Тома на телефоне, – бросила Инга и пошла в свою комнату.

Нина поспешила за ней.

В Ингиной комнате не было ни красного ковра на стене, ни кровати с панцирной сеткой и металлическими шариками, ни розового тюля на окне, ни грустной грузинской «отчужденной» девушки, которая висела почти в каждом доме.

Низкий диван с подушками, синие плотные гардины, создающие уют и полумрак, торшер на деревянной ноге с голубым абажуром и картины на стене – малопонятные, как будто смазанные, совсем неяркие, но почему-то волнующие.

– Датошка, – кивнула на картины хозяйка. – Томин поклонник.

– Томин? – переспросила Нина.

Инга кивнула:

– Томин, мамушкин в смысле. Известный грузинский художник и давний ее обожатель.

От этих слов Нине стало жарко и душно: «мамушка» – это Тома? Поклонник Дато? И все это говорится так обыденно, словно замужней женщине иметь поклонника – совсем обычная история.

Инга поставила пластинку. Музыка Нине была не знакома, но так обворожительна, так прекрасна, что ей снова стало жарко и душно.

– Поль Мория, – объяснила Инга. – Красиво, правда? Только немного грустно.

Дверь в комнату открылась, и на пороге возникла высокая худая женщина с ярко-рыжими, почти красными, явно крашеными волосами, в черном шелковом халате, перетянутом поясом на узкой девичей талии.

– Ингуша! – с укором сказала она. – У тебя гости, а тебе хоть бы хны!

Инга скривила гримасу и фыркнула.

– Девочки! На кухню! Маша постаралась – там столько вкусного!

Инга тяжело вздохнула и кивнула Нине:

– Пошли, делать нечего! Все равно не отстанут!

Кухня тоже отличалась от кухни в Нининой квартире, как земля отличается от неба, а лето от зимы.

Вместо белой пластиковой мебели, кухонного гарнитура, за которым полгода охотилась Нинина мама, на этой кухне стоял огромный темный буфет с резными утками и зайцами. Посредине кухни царствовали большой овальный стол со скатертью и массивные, тяжелые стулья с зеленой бархатной обивкой. Совсем не кухонные стулья.

На столе стояли вазочки с печеньем, булочками и виноградом. И огромная ваза конфет, разумеется, шоколадных.

Томуля достала из буфета тонкие чашки – белые, с тонкой серебряной каймой – и налила из заварного чайника крепкой заварки.

– Мне чай, – пояснила она. – Кофе на сегодня определено достаточно. А ты, Инга? Кофе? И вы, Ниночка, тоже?

Нина кофе никогда не пила. Нет, пила, конечно, – растворимый из банки и столовский из титана, и еще – желудевый у бабушки.

Но вот такой, черный, ароматный, только что сваренный в медной и, видимо, очень старой турке, – точно впервые.

Пах он замечательно, но на вкус оказался терпким и горьким.

Нина видела, что Инга в чашку сахар не положила, и тоже решила пить несладкий.

Правда, было очень невкусно.

Инга и ее мать разговаривали как подруги – подтрунивали друг над другом, хихикали, обсуждали наряды и знакомых.

Потом зазвонил телефон, и Тома поспешно ушла.

– А где твоя мама работает? – спросила Нина.

– Тома? Работает! Да Тома дня в своей жизни не отработала! Скажешь тоже! – фыркнула она и засмеялась. – Ну ты даешь! – усмехнулась она. – Такие женщины, как Тома, никогда не работают! Такие женщины удачно выходят замуж – за дипломатов, военных, дирижеров и режиссеров!

Нина смутилась и покраснела, поняв, что ляпнула явную глупость.

Из дальней комнаты снова раздавался низкий Томин смех, и запахло сигаретным дымом.

После черного кофе Нину стало подташнивать и захотелось домой.

Инга ее не задерживала.

Уже в коридоре она мельком увидела комнату, где ворковала Ингина мать, – дверь была полуоткрыта.

Тома полулежала на узком диванчике-загогулине с высокой крученой спинкой, закидывая голову, выпускала тонкой струйкой дым, с интересом разглядывала, словно видела впервые, браслет на узкой руке и медленно кивала, словно одобряя кого-то или что-то.

В этой комнате тоже царил полумрак – бордовые шторы были задернуты, и горела только настольная лампа, стоящая на черном рояле.

– Тома у нас крот! – улыбнулась Инга. – Не любит наблюдать жизнь при естественном освещении. И себе больше нравится – что самое главное!

Нина не очень поняла смысл сказанного, но кивнула и заторопилась домой.

Ее собственная квартира показалась Нине такой убогой, такой тесной и такой деревенской, что она села на табуретку и расплакалась. А вот кислых щей поела с удовольствием, и тошнота моментально прошла.

Их дружба с Ингой, растянувшаяся на всю долгую жизнь, казалась странной не только Нининым родителям, рыжей Томе, школьным учителям, одноклассникам, а в дальнейшем и Нининому мужу Володе, но и самой Нине.

Красавица Инга, с томной Томулей и папашей – начальником какого-то главка (Инга и сама не знала, какого именно), с прислугой Машей, с самой модной портнихой столицы, обшивающей капризных дамочек, и с личным водителем отца Севой, возившем девчонок по вечерам в театры, была, казалось, небожительницей.

Инга презирала всё и вся, включая собственную семью. Но простая, как медный пятак, Нина, с ее убогой жизнью и деревенскими родственниками, неожиданно стала для нее самым близким человеком.

Капризная, насмешливая, избалованная Инга, казалось, нуждается в Нине куда больше, чем Нина в ней.

Мать Нины дружбу эту не приняла.

«Что тебе с ней? – недовольно спрашивала она. – Вы с ней разного поля, это ж понятно!»

Но с годами все смирились и привыкли.

Обе девочки были закрытыми и сторонились людей.

Инга прикрывалась цинизмом и иронией, а простая Нина была стеснительной и малообщительной от природы. Только оставаясь вдвоем, они, правда не сразу, начали открывать друг другу душу, делиться сокровенным и тайным. Делилась в основном Инга – Нина тайн так и не завела.

Только Нина знала о страстном романе подруги – с женатым и взрослым мужчиной. И Нина отвозила ее в больницу на аборт, Нина, а не виновник неприятности. Она же ее из больницы и забирала.

Она же откачивала бедную Ингу, когда та решила напиться снотворного, чтобы навсегда покончить с несчастной любовью.

Она же уговаривала ее на все наплевать, увлечься кем-то другим и перестать считать себя женщиной роковой.

Но Инге роль женщины-вамп явно пришлась по душе. Она любила порассуждать о любви, об отношениях между мужчиной и женщиной, о вечном непонимании между полами, о том, что мужчина никогда не сможет сделать женщину счастливой и оставить при этом свободной. Она утверждала, что мир устроен несправедливо и надо срочно что-то делать с этим – ну сколько можно, в конце концов?

Ее так мучили эти вопросы, что она изводила не только себя, но и бедную, мало что понимающую подругу. Для той вопросы полов были ясны и закрыты – раз и навсегда. Чего там мудрить? Надо выйти замуж, родить ребенка и просто жить! Как живут ее знакомые и родители – ходить на работу, варить обед, стирать белье.

Инга поступила в институт иностранных языков на переводческий.

А Нина, несмотря на хороший аттестат, пошла в текстильный техникум. Мама сказала, что главное – не высшее образование, а специальность. И наплевать, что училась Нина неплохо и в средний ВУЗ прошла бы без проблем.

«Профессия закройщика прокормит всегда», – утверждала мама.

Нина легко согласилась – шить она любила и умела.

В двадцать лет Нина встретила Володю Горохова, простого таксиста, и через три месяца вышла за него замуж. Володя был ей понятен – таким был ее отец, приятели отца и соседи по дому.

Она совсем не задумывалась, любит ли она его и что такое любовь. Просто понимала одно – возраст подошел, замуж выходить нужно, и кандидатура Володи не самая плохая.

К Инге она теперь забегала нечасто – совсем не было времени.

Та доучивалась в институте, по-прежнему попадала в истории, падала из романа в роман, и каждый из них был более трагичным, чем предыдущий. Ингины избранники были как на подбор – либо женатые, либо сильно пьющие, либо не увязанные с реальной жизнью никак: доморощенные гении, начинающие диссиденты и вполне состоявшиеся алкоголики.

Инга то пропадала в мастерской какого-то скульптора, отчаянно ищущего «новые формы», либо моталась в экспедицию в калмыцкие степи за начинающим режиссером-документалистом, перепечатывала самиздатовские рукописи для очередного нового вольнодумца.

Она стала совсем худой, очень коротко остригла свои прекрасные пепельные волосы, совсем под мальчика, и это было очень трогательно и незащитно. Носила только черные узкие вещи – брюки и водолазки, а на тонком пальце – серебряное кольцо с огромным желтым топа-

зом – подарок Датошки, Томулькиного кавалера. Очень много курила и пила только черный кофе с куском сыра – все.

При всей разности их жизней, и вообще при всей их *разности*, они оставались подругами.

– Ты меня успокаиваешь, – говорила Инга. – Смотрю в твои спокойные глаза и прихожу в себя, становлюсь тише. Правда, ненадолго! – смеялась она.

Однажды она спросила подругу:

– А ты Вовку своего сильно любишь?

Нина пожала плечами:

– Я с ним живу, он мой муж, Ингуша. А про все остальное... Просто не думаю.

Инга посмотрела на нее, как на душевнобольную.

– А как ты спишь с ним? – уточнила она.

Нина улыбнулась:

– А как жена с мужем! Обыкновенно!

Инга вздохнула и покачала головой:

– Мне жаль тебя, Нинка! Потому... Потому что бывает *необыкновенно*! Ты поняла?

Нина махнула рукой:

– Мне бы твои заботы.

Через три года семейной жизни Нина родила дочку Галку.

Их семейная жизнь была по-прежнему скучноватой, обыденной – работа, ужин, телевизор перед сном. Только с рождением дочки прибавилось хлопот. Да и радости тоже... Наверное...

«Так живут все», – думала Нина, когда подступала тоска.

Как-то обмолвилась маме:

– Скучно как-то, мам. Будто обязали меня.

Мама вздохнула:

– А сколько у нас в году праздников, Нин? Ну, посчитай!

Нина посмотрела на нее с удивлением:

– При чем тут праздники, мама?

Мать не ответила и стала загибать пальцы:

– Первомай – это раз! Восьмое марта – два. Новый год и октябрьские, да, дочь?

Нина кивнула.

– И в жизни так же, – улыбнулась мать, – праздников по пальцам. А все остальное – будни, Нинок! Такая вот жизнь. – И мать тяжело вздохнула.

Родным человеком муж для нее так и не стал – был кем-то вроде соседа. Однажды она подумала: – А мы ведь ни разу не разговаривали по душам! Ни разу не говорили откровенно. Ни разу я не рассказала ему, что меня мучает, что волнует. И вправду – сосед. Молчаливый, угрюмый и... Чужой».

Тогда впервые она позавидовала подруге. Подумала: «Жизнь ведь пройдет, а у меня так ничего не случится! Я так и не узнаю ничего из того, от чего может кружиться голова, сжиматься горло, дрожать руки. Я не узнаю, какое счастье не спать до утра, рассматривая спящее лицо родного мужчины.

Так и пройдет моя жизнь... Так и пройдет?»

Когда Горохов загулял – а Нина об этом узнала довольно скоро, – она удивилась одному: ее это совершенно не обидело, не задело и почти не расстроило.

Сама предложила ему уйти:

– Что тебе мучиться, Вова? Иди туда, где тебя любят и где тебе хорошо.

Он посмотрел на нее с удивлением – видимо, ожидал борьбы, слез, уговоров.

– А ты? – спросил он. – Ты меня не любишь, Нина?

Та пожала плечами. Муж вздохнул и пошел собирать вещи. Нина достала с антресолей старый чемодан.

Знала, что Горохов счастлив, родил еще сына. Увидела спустя лет семь его на улице с семьей.

Выглядел бывший муж хорошо, одет был чисто – было видно, что за ним ухаживают и о нем заботятся.

Они шли вдвоем, держась за руки, и о чем-то оживленно спорили.

Рассмотрела Нина и его жену – обычная женщина, ее примерно лет. Полноватая крашеная блондинка. Одна из сотни, а может, из тысячи. Нинина сестра-близнец.

А получалось, что нет. С Ниной Горохов счастлив не был, а с этой – счастлив наверняка. У него глаза счастливого человека – это же сразу заметно.

Подумалось тогда – даже Горохов! И у него получилось.

Нина вздохнула и поторопилась уйти. Встречаться со счастливой семейкой ей не хотелось.

Впервые расстроилась: почему не получилось у нее, у Нины? Ведь не так плох был этот Горохов! Выпивал по праздникам, и очень умеренно. Зарплату приносил неплохую. Мог починить кран и поклеить обои. Нормальный мужик – не злой и не жадный. Такими не разбрасываются – правильно говорила мама.

Только чужой он был все время.

Нине всегда казалось, что у них совсем ничего нет общего. А если подумать – дочь, квартира, отстроенная дача? И вообще – почти десять лет жизни.

«Когда тебе всего за тридцать, остаться одной не так страшно. Это не в пятьдесят, – думала Нина. – Замуж выйду еще раз пять, – шутила она, – если, конечно, будет желание».

Но не сложилось. Было пару историй, совсем мелких, незначительных. Завателе Юрий Соломонович, например. Несколько раз сходили в кафе, дважды в кино. Юрий Соломонович сказал честно:

– Семью я не брошу, а тебе помогу.

– Чем? – удивилась Нина. – Я вроде со всем справляюсь.

Он внимательно посмотрел на нее и покачал головой.

Однажды сели в машину, и он смущенно позвенел связкой ключей.

Квартира была явно семейной, богатой и ухоженной.

Нина довольно много выпила, потом пошла в душ, долго стояла под почти ледяной водой, и больше всего на свете ей хотелось сбежать домой.

«Нет, так нельзя, – подумала она, – я же не школьница. Зачем надо было ехать сюда, зачем?»

Она растерлась чужим полотенцем, сделала глубокий вздох, как перед эшафотом, и зашла в спальню.

Ничего плохого не было. Но и хорошего – тоже. Почему-то было жалко этого не очень молодого и, в сущности, хорошего и доброго человека. И еще было очень жалко себя.

Больше подобных встреч у них не было. Все закончилось само собой, без выяснений и непонимания.

Еще был двухнедельный роман в пансионате.

Сергей был ее ровесник, строитель из Подмосковья. Худой, высокий, симпатичный. Оказались за одним столиком в столовой. Погуляли после ужина, сходили в кинозал. Там он взял ее за руку, и она впервые вздрогнула от мужского прикосновения.

Потом пошли к нему в номер, выпили коньяку с конфетами и...

Она осталась у него до утра. Он очень нравился ей, этот Сергей.

– Нинка! – смеялся он. – Ты – моя женщина! Только моя! – И целовал Нинины руки.

И Нина сразу в это поверила.

И ей показалось, что, может быть...

Остроумный, веселый, легкий. Молодой. Свойский какой-то.

А через пару дней к нему приехала жена – на выходные. И встретившись в столовой, он даже не кивнул – просто отвел глаза. Обнял жену и поцеловал ее в шею. А Нине показалось, что сделал он это специально – дескать, знай свое место! Где ты, и где она, моя жена.

На следующий день Нина уехала, не дождавшись окончания срока.

До сорока пяти желание устроить свою личную жизнь еще было. А вот потом... Пропало.

Так привыкла к одиночеству! Сама себе хозяйка, нет над ней начальников и руководителей.

«Значит, такая судьба, – думала Нина. – Бабий век мой прошел, не вышло. Бывает. Зато есть дочь. Пусть не рядом, но есть. Родной человек. Если что...»

Дочка рано выскочила замуж и укатила в Болгарию – ее муж был оттуда родом, в Москву приехал учиться. Присылала матери сочные фрукты невысказанной сладости и звала ее в гости. Нина съездила, помогла ей по дому, пообщалась с новой родней и – заспешила домой.

Одиночество, знаете ли! Оно расслабляет. И еще: одиночество – самая стойкая из привычек.

Зашла в свою квартиру и обмерла от счастья – родные стены, родной диван. Родные запахи.

А Инга горела в страстях. Вышла пару раз замуж – *ненадолго*, так, попробовать.

Первый муж был опальным художником, писал странные и красивые картины, которые никто не покупал – до поры. В перестройку повалили иностранцы и начали скупать его работы скопом и оптом. Появились большие деньги, и пошла загульная жизнь – рестораны, гости, шампанское рекой.

Нина приходила к ним в мастерскую – народу тьма, местные бородачи, элегантные коллегционеры с Запада, в общем – богема.

Она помогала на кухне, бесконечно резала бутерброды, заваривала чай, варила литрами кофе и старалась поскорее уйти.

Однажды услышала, как Ингин художник назвал ее поломойкой.

И больше она туда не ходила.

Беда пришла неожиданно, не предупредив, – как всегда.

Ингин муж замерз ночью на улице. Был, конечно, сильно пьян. До дому оставалось всего ничего, но он поскользнулся, ударился головой и потерял сознание. Двор был темным, мимо никто не прошел. А может, и прошел. Время было такое – все чего-то боялись.

Утром его нашли мертвым.

Мастерскую у Инги отобрали – площадь эта была арендованная. Картины к тому времени оказались проданы, новых не было, и Инга осталась нищей и бездомной.

Идти к родителям не хотелось. Полгода она жила у Нины – отсыпалась, отъедалась, приходила в себя.

Сначала говорила, что вся ее прошлая жизнь – кошмарная, дикая суэта и ледяная пустота, что человечество не выдумало еще ничего лучше, чем покой, уют и стабильность.

А потом заскучала.

Дальше – снова влюбилась и ушла от Нины, объявив, что тухнуть в болоте за кисейными занавесками больше не собирается, что Нинина квартира похожа на кладбище и что такую жизнь может прожить только заслуженная, закоренелая дура.

Нина сначала обиделась, а потом облегченно вздохнула – вернулась радость одиночества и размеренность жизни.

«Наверное, я и вправду странная», – думала Нина.

Впритык к пятидесяти подъехала такая тоска....

Хоть волком вой. И выла, случалось.

Прекрасно понимала, что кандидатов на ее руку и сердце нет, да и никогда особенно не было, долгими взглядами ее не провожают, годы летят так быстро, как ветер на пляже пролистывает забытый кем-то журнал. А впереди, увы, только старость с болезнями.

Подумала даже продать квартиру и переехать к дочке в маленький поселок под Варной. Там внучка, там тепло и солнечно. Дети рядом – самое главное.

А что здесь, в Москве? Да, своя квартира. Свой любимый диван. Работа, клиентки. Зарабатывала она всегда прилично – хорошая портниха всегда имеет заказы. Правда, шили сейчас не много – старались купить готовое. Но переделывали, подшивали, укорачивали – на жизнь ей хватало.

А сколько сейчас было тканей! Шелк, муар, тафта, сатин, джерси, бархат, велюр, кожа, твид. Разве могла мечтать о таком портниха в застойные годы? Эх, такие бы ткани тогда! Шили в те времена из того, что доставали. Даже из подкладочного что-то придумывали. А сейчас – красота, а шьют мало. Даже обидно. Как профессионалу обидно.

Позвонила дочке и намекнула:

– Может, переехать к вам?

Дочка обрадовалась, затараторила, что была бы просто счастлива, что они с мужем давно хотели купить дом посвежее и побольше.

– Да, мамуль, продавай квартиру и приезжай! А там что-нибудь придумаем!

«Придумывать» почему-то сразу расхотелось – просто поняла: если приедет и привезет деньги с продажи квартиры, дочь вложит их в новый дом, и она, Нина, там будет не хозяйкой, а приживалкой.

В общем, обещала подумать.

Дочка искренне огорчилась – уже настроилась на новый дом.

Нина усмехнулась: не мать ей нужна, а новое жилье.

Позвонила Инге – посоветоваться. Хотя все, конечно, давно решила.

Инга вступила, не дослушав:

– Спятила? Продавать квартиру, переться в чужую страну примачкой? Чтобы они загнали тебя работой? Внучка, хозяйство! Коз доить едешь? Жить у них на птичьих правах? Они быстро все забудут, что ты продала квартиру, поверь! Живи для себя, – закончила бурную речь подруга. – Тебе что, плохо одной?

– А я не знаю, – растерянно ответила Нина, – хорошо или плохо.

Инга пережила двух мужей – второй брак оказался еще горше первого. Муж-искусствовед почти не зарабатывал, жили впроголодь, поддерживали родители – как могли. Отец был давно на пенсии, Томуля пребывала в тяжелой депрессии в связи с утратой красоты и молодости.

Искусствовед мучил Ингу капризами и ревностью.

Через пару лет он тяжело заболел, и она ухаживала за ним до последнего дня. Безденежье и тяжелые заботы подломили и состарили красавицу Ингу.

Похоронив отца и мужа, она вернулась домой. За Томулей тоже требовался уход, и измученная Инга говорила, что стала профессиональной сиделкой. «Ты могла бы подумать, что я так буду проживать свою драгоценную жизнь? Лично я – никогда!»

Ингу было жалко, Тому было жалко. Себя было жалко.

Получалось – ни у кого не сбылось....

Как-то вечером, перед сном, пришла в голову идея – продать старую дачу. Ее строил еще Горохов, помогали ему братья и два приятеля. Все своими силами, рабочих нанимать не при-

шлось. Сами клали фундамент, месили цемент, возводили стены. Домик получился небольшой, но крепенький, симпатичный.

В молодости дачу Нина не любила, но Горохов был помешан на огороде, и деваться было некуда – приходилось стоять кверху задом.

Огородница из нее была никакая, даром, что летом росла у бабки в деревне. Наверное, это ей тогда и осточертело! А Горохов сажал фруктовые деревья, рыхлил огород, ставил теплицы. Сам ковырялся и от жены требовал. Удобств никаких, туалет на улице. Печка постоянно дымила, сколько ее ни чинили. За водой ходили на соседнюю улицу.

Но природа там была сказочная! Лес вокруг поселка, поле почти за домом, узкая, но чистая речка – в жару ребяшня из воды не вылезала. Птицы пели по утрам, а грибы росли сразу за домом, на сухой опушке, плотно застеленной сосновыми иглами.

Но Нине хотелось на море, к южному горячему теплу, к сочным фруктам, горячим чебурекам, медовым запахам акации по ночам.

Или в санаторий, на все готовое. Чтобы не стоять на кухне, не бегать по магазинам. Но они снова ехали на дачу. А это, между прочим, еще и почти сто верст от Москвы!

Горохов ушел красиво – ничего не делил. Дочь Галка подросла, и необходимость в даче отпала. Нина была этому только рада – сплошное облегчение. Сейчас же она испытывала небольшую неловкость от того, что обнадежила дочку и – прокатила. Решила – продам дачу и деньги вышлю Галке. Пусть небольшие, но все-таки. Это хоть как-то ее утешит.

Дала объявление, и желающие тут же нашлись. Потенциальные покупатели заехали за ней в воскресенье.

Нина села сзади. Мужчина за рулем был отъявленным весельчаком с хитрой кошачьей физиономией – хохмил всю дорогу, рассказывая старые и довольно пошлые анекдоты. А женщина, его жена, за весь неблизкий путь не проронила ни слова. Мужчина говорил, что семье необходим свежий воздух – детишки, понимаете ли! Вот Люсенка, – он кивал на жену, – и любимая теща.

«Понятно, – подумала Нина, – хочет свою Несмеяну кривомордую сбегать – хотя бы на лето. Вместе с отпрысками и вредной старухой. Сбегать и – гулевонить три месяца, а то и четыре».

Доехали. Вышли из машины, и Нина с трудом открыла заржавевший замок. На участке было прохладно, несмотря на очень жаркий и солнечный день. Трава выросла по колено – и это в начале июня. Да и сад так разросся, что сама Нина его не узнала. Яблони и вишни цвели, и казалось, что на деревья накинута легкая кружевная оренбургская кипенно-белая платок.

Нина остолбенела от такой красоты.

Она открыла входную дверь, и из дома пахло затхлой, застарелой сыростью. Покупатели пошли смотреть дом, а она вышла в сад и села на скамеечку. Дышалось так, словно внутри ее наполнили покоем и счастьем.

Нина закрыла глаза и услышала легкий шелест листьев и нечеткий, отдаленный голос кукушки. Покупатели вышли на крыльцо и о чем то заговорили. Тихо шипела угрюмая жена и подхохатывал муж-весельчак.

Нина прошла по участку, потрогала уже набухшие кисти сирени, почки на огромном, разросшемся за годы чубушнике, увидела острые темные стрелы пробившихся нарциссов и светло-зеленые мясистые листья ранних тюльпанов. Позади участка, среди сорной травы, обнаружила заросшую клумбу с первоцветами – сиреневыми, желтыми, белыми. Она присела на корточки и погладила их.

Сели в машину. Долго молчали, а потом хмурая женщина объявила:

– Дом ваш нас не интересует! Совсем! Развалюха, а не дом! Наверняка все прогнило! Его надо сносить и строить новый.

Муж смущенно молчал.

– Так вот! – продолжила его угрюмая супруга. – Дом ваш нам не нужен. Участок, согласна, неплох. По крайней мере – зеленый. Дайте адекватную цену, и можем начать разговор.

– Я подумаю, – тихо ответила Нина.

Оставшуюся дорогу молчали. У Нинино дома остановились. Она вышла, заглянула в водительское окно и твердо сказала:

– Дом я вам продавать не буду! Вы уж простите, что потеряли время.

Весельчак хлопнул глазами и растерянно посмотрел на жену.

– Почему не будете? – нахмурила брови та. – Что это за фокусы такие?

– А я передумала! – весело сказала Нина и, махнув рукой – дескать, не обессудьте! – быстро пошла к своему подъезду. – Какой-то переворот в сознании, – бормотала она. – Просто переворот! Больше всего на свете я хочу... Жить на этой даче и разводить цветы! Нет, я определенно сошла с ума! – думала Нина, вертясь перед сном. – Я и цветы! Сумасшествие какое-то, вот прямо, ей-богу!

В первый раз в жизни ей захотелось на пенсию. До этого и подумать о ней было страшно!

Но до пенсии было еще целых пять лет, а вот положенный отпуск маячил на горизонте. Через две недели Нина, собрав кучу сумок и вызвав такси, отбыла на дачу. Настроение у нее было прекрасным.

Работы там было, конечно же, невпроворот. Привести в порядок дом, отмыть, просушить, выкинуть старое и ненужное.

Через неделю дом сверкал, пах свежепокрашенными полами, чистым бельем и только что сваренным борщом.

«А вот теперь, – вожаденно подумала она. – Теперь мы займемся участком!» И в предвкушении этого спала она тревожно и беспокойно, с одной только мыслью – скорее бы утро! И не дай бог – дожди!

И когда утром все-таки пошел дождь, она вышла на крыльцо и почему то расплакалась.

«Дура какая! – ругала она себя. – Нет, не дура – стервоза! Дачу ей захотелось! Цветочки сажать! Бред какой-то. Жила без этих цветочков, и вот – приспичило! Эгоистка и дрянь».

Конечно, глубоко в душе она понимала, что от дочери отвыкла, а к внучке привыкнуть так и не успела – прикипаешь к тому, с кем вместе живешь, кого растишь, в кого вкладываешь. А этого ее лишили. Или она сама себя лишила. Что разбираться?

Жизнь дочери в далекой Болгарии была слегка призрачной – нет, знала, что все хорошо и... Это ее вполне устраивало.

Одиночество – такая штука... Привыкнуть к нему трудно, а уж когда привыкаешь... Поди вытащи человека из него добровольно!

Возможно, человек этого хочет, но еще больше – боится.

«Дачу – на продажу, деньги – Галке», – решила Нина и стала собираться домой.

Покупатель по новому объявлению появился через два дня.

Приятный мужской баритон посетовал, что машины у него нет и ехать придется на электричке.

– Не привыкать, – ответила Нина, и сговорились на завтра.

Встретились на Казанском, у касс. Владелец баритона оказался мужчиной за шестьдесят или около того. Лысоват, чуть полноват, все в меру, одет аккуратно и по-молодежному – джинсы, ветровка, кроссовки. В руках – спортивная сумка.

Представился:

– Игорь Сергеевич, можно без отчества.

Нина усмехнулась:

– Зачем же так сразу? – И добавила: – Нина Ивановна.

Сели в поезд, и попутчик раскрыл газету. Нине это понравилось – никаких разговоров «за жизнь». Настроение было довольно паршивое, что говорить.

Потом она задремала и проснулась за две остановки до нужной.

Вышли на перрон. Игорь Сергеевич потянулся, сделал пару глубоких вдохов, подхватил Нину под руку – впереди была довольно крутая лестница, – и они двинулись в путь. Завязался разговор – сначала про раннюю весну, обрушившуюся несусветной, совсем не весенней, жарой. Потом про цены, взлетевшие после последних событий. Оказалось, что он весьма осведомлен в этом вопросе, и Нина сильно удивилась.

Наконец дошли. Пока Нина отпирала дом, он ходил по саду, трогал стволы давно не беленных яблонь, растирал в ладони лист черной смородины и, прикрыв глаза, жадно вдыхал его терпкий и сладкий, совсем уже летний запах.

По дому он прошелся с интересом, задал пару неглупых вопросов и наконец сказал:

– Нина Ивановна, милая! А зачем продавать такую вот красоту? – И тут же извинился за излишнее любопытство.

Нина пожала плечами.

– Мы сюда давно не ездим, мужа нет, дочь живет в другой стране, я работаю, привязана к городу. Да и вообще – тяжело, знаете ли! В смысле – одной.

Сказав это, она тут же смутилась, густо покраснела и отвела глаза: «Еще поймет не так, господи! И что меня понесло?»

Потом он спросил, нельзя ли поставить чайник, Нина кивнула и пошла на кухню.

А когда вернулась в комнату, остолбенела – на столе были разложены бутерброды, два куска домашнего пирога, свежие огурцы, разрезанные и оттого остро пахнувшие свежестью и летом.

Игорь Сергеевич смутился и развел руками:

– Вы уж простите, Нина Ивановна! Я просто подумал – путь неблизкий, проголодаемся наверняка!

Нина промолчала – это она, женщина, должна была подумать о еде. Дура и эгоистка! Привыкла все для себя.

Чай пили долго, и наконец Игорь Сергеевич рассказал свою историю. Оказалось, что вдовец он давно, девять лет. Жена умерла от долгой болезни. Сейчас ничего уже, почти привык.

– Если к этому вообще можно привыкнуть! – грустно добавил он.

Живет он с сыном, невесткой и внуком. Квартира небольшая, двухкомнатная. Места, разумеется, не очень хватает. И вот он решил – оставит своим квартиру, а сам переберется за город. Почему? Да потому что давно об этом мечтал – о природе, свежем воздухе, тишине и покое. Еще мечтал о саде и даже – представьте – об огороде! Самому, ей-богу, смешно! Ни тем, ни другим он в жизни не занимался! Детям будет вольготнее, а в отпуск – милости просим! Внука возьмет на все лето, парень чудесный, они с ним большие друзья!

Нина слушала его и думала о своем эгоизме. Человек заботится о близких! Даже, возможно, в ущерб самому себе. А она...

Укрылась в своем черепашьем панцире и думать ни про кого не желает!

Потом Игорь Сергеевич сказал, что его все устраивает, торговаться он не намерен, только... Он замолчал.

– Вы бы еще подумали, Нина! Ей-богу, ведь жалко! Такой дом, такой сад!

– А вы? – раздраженно ответила Нина. – Как же вы? Ну если я передумаю? Вам же подходит все, верно?

Он кивнул.

– Да, подходит. Кое-что, конечно, надо подправить, обновить. Но если вы передумаете, я еще что-нибудь подберу! Предложений, знаете ли, вагон и тележка.

– Нет, – решительно ответила Нина. – Я не из тех, кто морочит голову! Решили – значит, решили! Бумаги в порядке, давайте договоримся, когда оформлять.

А про себя. «Заботливый, блин! Ну просто смешно».

Он вздохнул и кивнул:

– Ну, хозяин – барин!

Собрали со стола остатки трапезы, отнесли на кухню чашки и ложки. Нина сполоснула посуду, выключила газ, и тронулись в путь.

Закрывая калитку, она оглянулась на дом и сад. Сердце екнуло, гулко забилося. Нина поняла, что прощается с ним навсегда. А вместе с ним – и со своей молодостью и прежней, совсем неплохой, жизнью.

До станции шли молча. Спутник голову не морочил – наверное, понимал Нинины чувства.

В поезде она закрыла глаза, но уснуть не удалось. Вспомнилась вся жизнь. Пленка крутилась быстро, как в старом кино, – и почему-то была черно-белой.

Свадьба с Гороховым, белое платье, на которое кто-то из гостей пролил шампанское, и Нина так горько плакала, словно у нее отобрали мечту.

Рождение дочки, Горохов под окном, счастливый, улыбающийся, с букетом мимозы.

Бессонные ночи, Галкины крики, первый зуб и первые неловкие шажки. Галкино падение с горки, разбитая голова, лужа крови и белое от ужаса лицо Володи, отца и мужа.

Покупка ковра, ярко-зеленого, ядреного, ядовитого цвета. Но – такая радость от покупки, что не спала первую ночь.

Строительство дачи, потный, по пояс голый Володя кричит ей с еще недостроенной крыши:

– Нинок! Ставь картошку! Проголодались!

А она смотрит на него и думает, что она счастливая...

Смерть отца, и мама у гроба – маленькая, словно ребенок, руки дрожат, и все приговаривает:

– Как же так, Ванечка? Зачем же ты так?

Потом развод и судья с неподвижным, словно окаменелым, лицом – она смотрит на нее с какой-то брезгливой жалостью: «Что ты за баба, если от тебя бежит приличный мужик?»

Дальше – Горохов с новой женой, дружные и счастливые. И она, Нина, словно подглядывающая в чужое окно.

Галкина свадьба – суетливая, пьяная, с кучей незнакомых и чужих людей. Таз с жареными пирогами – болгарскими плэчинтами, которые всю ночь пекла суетливая Галкина свекровь.

Дочь с горящими глазами:

– Мама! Я так люблю его! Ты даже не представляешь!

Точно, не представляла! Бросить институт, бросить мать, чтобы уехать в другую страну, к черту на рога! Столичная девочка, а там – собственный дом, хозяйство. Куры, корова. Бред какой-то!

Потом снова дача, уже осенняя. Они топят печку, муж чертыхается – печка не думает разгораться. А на полу, в тазах и корзинах, лежат яблоки. Огромная, с мужской кулак, антоновка пахнет так яростно, что кружится голова. Уставший муж садится на стул и хрустит сочным яблоком:

– Здорово, да? Не зря мы, Нинок!

И в глазах его такая радость...

И кажется, что вся жизнь впереди... Долгая и счастливая жизнь.

Поезд затормозил, Нина открыла глаза. Простились в метро, договорились о походе к нотариусу.

«Все слава богу! – думала она. – И человек нормальный, и торговаться не стал. Что говорить – повезло!»

Вечером позвонила Инге.

Та действия одобрила, уточнила цену и выдала:

– Вот! Наконец! Купишь себе приличную норку и поедешь в Испанию! Возьмешь хороший отель и отдохнешь по-человечески! В первый раз в жизни!

Нина подругу остановила:

– Зачем мне твоя норка? Зачем мне отель? Поеду на Волгу, я уже и путевку присмотрела.

– Дура! – завопила Инга. – Неисправимая дура!

– Вот именно, – поддержала Нина. – И зачем мне, дура, твоя норка?

Деньги решила отправить дочке, а все остальное – фигня. Все у нее есть, шубы ей не надо – при наших погодках, знаете ли! Сплошные оттепели и дожди! Есть еще отличное финское пальто – как раз на мороз.

Инга снова осудила ее, слегка цапанулись и одновременно бросили трубки.

Обе не расстроились: понимали, что такие «конфликты» – ни о чем, завтра созвонятся как ни в чем не бывало.

Так и было – созвонились на следующий день, вернее позвонила Нина, взволнованная перед завтрашней сделкой.

Инга сказала, что на сделку отправится вместе с подругой – так спокойнее и правильнее.

Назавтра встретились у конторы нотариуса в десять утра.

Игорь Сергеевич полоснул взглядом по Инге, и Нина, перехватив этот взгляд, почему-то смутилась – наверное, увидев обычный, здоровый, мужской интерес.

«Каков! – подумала она. – Ничто человеческое нам, оказывается...»

Впрочем, глянув на подругу сторонним взглядом, подумала: «А Инга еще красавица! И какая! Не берут ее годы, не берут! Стройна, фигуриста, одета как картинка».

– Красивая у вас подруга, – шепнул ей Игорь Сергеевич.

Нина нахмурилась и ухмыльнулась:

– Действуйте! Дама свободна и в поиске.

Он посмотрел на нее с удивлением:

– О чем вы, Нина? Это вообще не про меня!

Уточнять не стала, но разозлилась.

Что не про него? Инга не по зубам или вообще?

Ладно, не о том. Сделка прошла, деньги Нина получила, ключи новому хозяину отдала со словами: «Ну если что – звоните!»

Он кивнул, тепло попрощался, пожелав здоровья и удачи, и был таков.

Инга стояла на улице и курила.

– А он ничего, этот новый владелец! А, Нин?

Нина равнодушно отозвалась:

– Ничего? Да обычный. Обычный нищий пенсионер! Лысый и пузатый, кстати!

– Да? – удивилась Инга. – А я не заметила!

Нина перевела разговор – отчего-то ей было неприятно обсуждать Игоря Сергеевича.

– Пошли в кафе – отмечать, – предложила Инга.

За обедом снова начался прессинг по поводу шубы, Испании и «жизненных удовольствий».

Шубу Нина окончательно отмела, а вот на Испанию согласилась.

Правда не сразу, так сказать, под сильным воздействием. Решили, что путевки будет брать Инга – она человек более опытный и ушлый. По дороге домой Нина отправила дочери деньги. «Подальше от соблазна», – решила она.

Галка позвонила на следующий день, орала от радости, сыпала благодарностями и заявила, что купят они новую машину – так решили на семейном совете.

– А дом? – расстроилась Нина. – Вы же хотели дом?

Галка затараторила, что на дом не хватит все равно, а о машине они мечтали давно.

– В общем, мам, не обижайся, и спасибо тебе огромное!

И больше ни слова о Нинином переезде...

Впрочем, что обижаться? Сама так решила.

Путевки в Испанию были взяты на начало сентября. Инга долго выбирала отели, капризничала, выпендривалась, часами сидела в Интернете, названивала по сто раз на дню в турагентства и сообщала новые подробности будущего путешествия.

Вылетать должны были шестого, а третьего Нина сломала ногу. Дернул же черт попереться в девять вечера за кефиром! Захотелось, видите ли, кефира!

Упала у самого дома, почти у подъезда, споткнувшись в темноте о какую-то шпалу, железную дуру, непонятно кем брошенную. Кое-как доползла до квартиры, а через полчаса нога разбухла и посинела. Нина позвонила соседке, и та, поохав, вызвала «Скорую».

Перелом оказался непростым. В больнице Нина пролежала два дня и под расписку ушла домой. Деньги за путевку обещали вернуть, но с большими потерями и вообще – при чем тут деньги, скажите?

Тоска навалилась такая...

Неплаксивая Нина ревела дни напролет.

Инга тоже хлюпала носом, ворча, что с такой, как Нина, обязательно случится какая-нибудь фигня. «Я так и знала! А ведь я так мечтала об отпуске! Там такие мужики случаются!» – ныла подруга.

– Какие мужики? – взорвалась Нина. – Ты что, совсем чокнулась? Посмотри на себя в зеркало! Шторы раздвинь! Значит, не судьба!

– Судьба – не судьба, – обиделась Инга. – А ты, мать, в пролете!

– Утешительница! – зло бросила Нина и швырнула с грохотом трубку.

В день отъезда Инга позвонила, но, увидев ее номер, Нина трубку не взяла. Понимала, что глупо и Инга вообще тут ни при чем, но настроение было такое... Как говорится – на море и обратно.

Только теперь – без моря, увы...

Лежала все время на диване, не читала, телевизор не смотрела, есть не ела – тосковала и все.

Думала про то, что неудачница, лузерша и вообще – бестолковая дура! И надо же было переться за этим кефиром! Еще на ночь глядя. Вот и пей свой кефир! До конца своей жизни. Одна.

И вообще – не получилось в жизни *ничего*! Семья не сложилась, дочь живет далеко, внучку не растила. С любовью тоже ничего. Не было в жизни любви... Ничего, получается, не было! Совсем ничего. Такой вот итог. Вся жизнь – как песок сквозь пальцы. Была и нет. Вот Инга, по крайней мере, горела в страстях. Кипела, бурлила ее жизнь. Есть что вспомнить. А у Нины? Юрий Соломонович с тяжелой одышкой? Враль Сережа с наглым хохотком?

Вот размечталась о клумбе с цветами – опять не сложилось. Не будет у нее букета сирени в белом кувшине и яблок в корзинах на деревянном крашеном полу веранды.

Как мама пела в детстве, «будет тебе белка, будет и свисток». Ни свистка, ни белки. Теперь злись на судьбу! Сама виновата.

В первый раз Нина Горохова изменила своему характеру. В первый раз обиделась на судьбу.

Погода, кстати, была распрекрасной – началось бабье лето, было тепло, солнечно, и клены за окном шелестели разноцветными и резными, яркими листьями.

Но и это не радовало. Десятого раздался телефонный звонок, и Нина долго раздумывала, брать ли ей трубку. Номер был незнакомый.

Однако звонящий был настойчив, и пришлось ответить.

– Кто? – не поняла Нина. – Игорь? Какой? А, поняла! Да, дома. Болею. – Она всхлипнула от жалости к себе. – Около моего дома? – не поверила она и осторожно спросила: – А, простите, зачем?

Он начал оправдываться, и Нина, вздохнув, прервала его:

– Ну поднимайтесь! Что с вами делать....

Через минут пять раздался дверной звонок.

На пороге стоял Игорь Сергеевич, держа в руках свою любимую спортивную сумку.

Он смущенно открыл ее, и оттуда вырвался... запах.

– Антоновка, – кивнул он, – из вашего сада! Не мог не привезти вам, простите! Такой урожай, что голова просто кругом! Вы посмотрите, какие красавицы!

Он нагнулся и достал из сумки два яблока – и вправду огромных, нежно-желтых, словно святящихся изнутри.

Нина взяла протянутое ей яблоко, поднесла его к лицу и блаженно прикрыла глаза:

– Господи! Пахнет-то как! Просто счастьем пахнет, ей-богу! Давно позабытым...

Игорь Сергеевич смущенно кивнул:

– Так и есть! Наверное...

Нина неожиданно улыбнулась и всплеснула руками:

– А что с яблоками-то делать? Столько их, господи! А если пирог? – вдруг осенило ее. – Для этого лучше антоновки ничего пока не придумали! А?

– Пирог – это здорово! – с энтузиазмом поддержал Игорь Сергеевич. – А уж с антоновкой! Ну что, на кухню? И за пирог?

Нина засмеялась. И в эту минуту ей показалось, что вместе с запахом яблок в ее одинокий дом забрела тихая радость, и еще... Даже страшно подумать... Такая мадам, как надежда.

Та, с которой глупая Нина давно распрощалась.

Бабье лето

Все, как всегда, получилось кувырком из-за этой дуры Инки. Прости господи, все-таки родное дитя. Позвонила, естественно, среди ночи. Кой черт ей задумываться, что мать, приняв очередную дозу снотворного, наконец заснула. У них-то в Москве белый день! Орать начала сразу, с разбега, орать и рыдать – одновременно. Это у нее отработано – с детства опыт неслабый. Пока Стефа врубилась, попробовала ее хоть как-то на секунду прервать и понять наконец в чем дело, прошло минут пятнадцать.

Анька тоже, конечно, проснулась, а у нее со сном тоже не ахти.

В конце концов Стефа поняла, что внук Тема в больнице, какой-то сложный перелом голени, хорошего не обещают, возможны осложнения – в общем, надо менять билет и срочно лететь в Москву. Стефа сидела на кровати, опустил голову, свесив ноги, и монотонно приговаривала:

– Да, да. Я все поняла, поняла, конечно, буду, завтра все сделаю, да, буду, буду.

Анька стояла над ней в белой ночной рубашке до полу, скрестив руки на груди. Стефа положила трубку и подняла на подругу глаза:

– Ты как привидение, господи!

Анька, не поменяв позы, сурово спросила:

– Ну что там опять?

Стефа махнула рукой:

– Тема в больнице, ничего страшного. Но ты же знаешь Инку! Придется менять билет.

– Идем на кухню, – предложила Анька.

Они сели на высокие кухонные табуретки (Анька называла их насестом), закурили, и Анька ловким, отработанным движением плеснула виски в стаканы с тяжелым дном.

– Ну и!.. – грозно изрекла она.

– Буду менять билет, – вздыхая, ответила Стефа.

Несколько минут они молчали. А потом, естественно, Анька разразилась. Гнев ее был логичен и справедлив, так же, как и доводы. «И Инна твоя придурочная – тебе не привыкать, и с Темой, слава богу – тьфу-тьфу, ничего страшного. И осталось всего пять дней. И когда они тебя оставят в покое, эгоисты, сволочи!»

Стефа задумчиво смотрела в одну точку.

– Никогда, – сказала она.

– В смысле? – уточнила Анька.

– В смысле не оставят в покое, – устало бросила Стефа. Потом взмолилась: – Слушай, пойдем спать, может, еще прихватим часок-другой, а?

Анька махнула рукой и в сердцах почти швырнула пустой стакан в мойку.

– Ну не злись, – попросила ее Стефа. – Если еще и тебе надо объяснять...

Анька сдаваться не собиралась.

– Да что там объяснять? Взрослая баба, тридцать лет, а висит хомутом на твоей шее. Вместе с дебилом-мужем и со своим отмороженным папашей. Доколе? Я тебя спрашиваю. Ну сколько это еще будет продолжаться?

Стефа устало махнула рукой:

– всю мою жизнь. Разве это тебе непонятно?

– А не ехать, забить? – не унималась Анька.

– Посуди: что для меня будут эти пять дней? Совсем с катушек съеду. Ну и потом, мальчик же и вправду в больнице.

– Ну, давай, давай, – бросила Анька и пошла к себе.

Понятное дело, уснуть не удалось. Думала про внука, про обмен билета – удастся ли еще? Про Анькину обиду, про сломанный отпуск. В семь поднялась и пошла в душ. Выпила кофе, стало чуть легче.

В девять они с Анькой сели в машину и поехали на Манхэттен – в представительство «Аэрофлота». Билет, слава богу, поменяли. Перекусили в суши-баре, двадцать пять долларов – ешь сколько влезет. После Москвы – халява.

Вспомнили, что надо докупить подарки, рванули в любимый «Маршалс» – суетливо мотались от одной полки к другой, но все равно получилось спешно, дорого и бестолково.

Сели выпить кофе и отдышаться. Анька прокомментировала:

– Вам сейчас что-то возить – одна морока. У вас есть все, что здесь, и даже лучше. Это не прежние дивные времена: пачку тампакса, часы за доллар, зонтик за два – и ты благодетель. А сейчас?

Стефа не соглашалась:

– Подарки любят все. Я своим даже из Тулы подарки везу.

– Самовары? – поинтересовалась Анька и, помолчав, добавила: – Ну и дура!

Дома пытались упаковаться – места в чемодане, как всегда, не хватило. Анька полезла в кладовку и достала старую пыльную желтую сумку «Адидас» – кое-как все распихали.

Ну а потом, конечно, начался треп. Про все – про мужей, бывших любовников, родителей.

– Нет, это счастье, что у меня нет детей, – уверенно говорила Анька.

«Ну-ну, – думала Стефа. – А то я не знаю, сколько лет ты маялась. Хотя, конечно, положила руку на сердце, правда в этом есть. Особенно когда думаешь о своей любимой дочурке».

В двенадцать разошлись по комнатам – в шесть утра надо было уже выезжать из дома.

Стефа стала почти засыпать и вдруг почувствовала какое-то движение возле себя. У кровати стояла Анька и держала что-то темное в руках. Стефа испуганно подскочила.

– Что это? – шепотом спросила она.

– Шуба, – ответила Анька и бросила что-то на кровать. Зажгла свет.

На кровати, почти накрыв Стефу, переливалась и сверкала шоколадным блеском норковая шуба.

– Ты спятила, она ж новая! – прошептала обалдевшая Стефа.

– Ну и хрен с ней, надену здесь два раза за зиму, а ты поносишь.

– Нет-нет! – заверещала Стефа. – Не возьму ни за что, даже не думай. Тоже мне, любовница Абрамовича нашлась!

Они еще долго препирались, перебрасывая почти невесомую шубу с рук на руки, потом устали, сели обнявшись на кровати и дружно заревели – от близости, от чувств, оттого, что вся жизнь (ну, почти вся) прошла вместе и даже те последние пятнадцать лет, что их разделяли материки и океаны, они все равно оставались самыми близкими на свете людьми.

Потом пошли на кухню курить. Выпили чаю, съели по бутерброду, кляня себя за несдержанность. Опять плакали и смеялись и, наконец, разошлись по углам – каждая в своих нелегких думах.

Стефа думала о тотальном вдовьем одиночестве Аньки. Да, деньги, слава богу, есть, дом выплачен, старости можно не страшиться – а она не за горами. О том, что ближе и роднее Аньки нет никого на свете: общее детство, молодость – что может связать крепче и сильнее? Еще о том, что бог вещь когда сможет опять выбраться в Нью-Йорк – деньги, болезни, работа, семья, все так непросто. В общем, жизнь не прошла – проскочила, как случайный воришка, схвативший что-то с испугом. Тревожилась о внуке, думала о своей нелепой дочери – надежды на ее взросление, осмысление и понимание жизни становились все призрачней. Все ждала – перерастет. Как же. В сотый раз задавала себе одни и те же вопросы: когда ошиблась, что пропустила? И снова не могла на них ответить.

Анька тоже не спала – сначала почитала какую-то чушь, потом выключила ночник – и мысли, мысли... Как там поет их певец? «Мои мысли, мои скакуны»? Вот именно, скакуны. Про любимую подружку, почти сестру, да что там, не у всех сестер такая близость, как у них. Про ее домашних мучителей, про то, что Стефе уже пятьдесят, а покоя нет и не предвидится. И конечно, про свое: завтра она останется опять одна в прекрасном, удобном доме, с роскошной машиной в гараже – и со своим беспросветным и бесконечным, уходящим за горизонт одиночеством. И со стаканом виски по вечерам. Только не будет Стефки, с ее тревожным взглядом на этот самый стакан.

В аэропорт ехали больше двух часов.

– Поспи, – предложила Анька, глядя на бледное Стефино лицо.

– В самолете посплю. Поем и посплю, – мечтательно повторила подруга.

Прощаться, как всегда, было невыносимо. Анька протянула плотный белый конверт:

– Это на кладбище, – пояснила она. – Наймешь тетку, пусть покрасит, подправит, цветочки посадит.

Стефа решительно отвела Анькину руку.

– Не придумывай, никого нанимать не буду. Как делала все сама, так и буду. Весной сама покрашу, все посажу.

Анька отвела в сторону глаза, полные слез, и тихо сказала:

– Незабудки.

– Да, да, конечно, незабудки, – ответила Стефа и вытерла ладонью глаза.

– Мама так любила незабудки, – всхлипнув, сказала Анька.

Они обнялись и дружно разревелись. Потом Анька решительно оторвала подругу от себя:

– Долгие провода – лишние слезы.

Она всегда была решительнее Стефы.

Пошли сдавать багаж. А дальше был паспортный контроль – и почему-то, как всегда, глухо забилося сердце. «Идиотка, – сказала самой себе Стефа. – Интерпол тебя разыскивает, старую дуру».

Потом она шаталась по дьюти-фри, долго раздумывая, купила мужу бутылку виски, блок «Мальборо» зятю, побрызгала на запястье новые ароматы, пришла к выводу, что остается верна себе – только «Шанель». Купила тушь от Элизабет Арденн и пакетик леденцов в дорогу.

С трудом нашла крошечную курилку в ключьях сизого, плотного дыма – Америка всю боролась с курением, – жадно выкурила две сигареты подряд: предстоял перерыв часов в двенадцать, приготовила посадочный и стала искать выход на посадку.

В самолете досталось место у окна – ура, ура, хоть в чем-то повезло. Села и блаженно закрыла глаза.

«Ну и ладно, домой так домой – в конце концов, домой всегда неплохо», – подумала она.

– Добрый день, – услышала Стефа и открыла глаза.

Невысокий, плотный мужчина с остатками некогда буйных кудрей, в красном свитере и голубых джинсах, пытался засунуть сумку в антресоль для ручной клади. Стефа кивнула. Громко вздохнув, он тяжело опустился рядом с ней.

– Будем знакомы, Леонид. Путь неблизкий, – улыбнулся он.

Она нехотя откликнулась:

– Очень приятно, Стефа.

«Ничего приятного, – подумала она. – Бодрячок-весельчак, поспать точно не даст. Из тех, кому непременно надо пообщаться». Отметила: мужичок вполне, вполне, синеглазый, крупный хороший рот, породистый нос, увесистый такой мужичок. На узких бедрах хорошо сидят джинсы – она ненавидела джинсы не по размеру. Яркий свитер, клетчатый шарф – не все в его возрасте наденут красное.

И она опять прикрыла глаза. Это значило «не хочу никаких разговоров». А он больше не приставал: надел очки, начал листать свежие газеты, предложенные стюардессой.

«Ну и славно, – подумала Стефа. – Слава богу, не идиот».

Проснулась она от запахов пищи – стюардессы разносили обед. Стефа взяла протянутый пластмассовый контейнер и почувствовала, как сильно она голодна.

Ее сосед с удовольствием глодал куриную ножку.

– На борту надо брать только курицу, – оживленно сообщил он. – Рыбу ни в коем случае.

– Да? – удивилась Стефа. – Я как-то над этим не задумывалась.

– Слушайте, а может, выпьем вина? – спросил он.

«Обрадовался, что я проснулась», – зло подумала Стефа.

– Нет, спасибо, от вина у меня болит голова, – вежливо ответила она.

– А может быть, что-нибудь покрепче? Коньяк, например? – не отставал он.

– Нет, – резко сказала Стефа. – Спасибо, я не люблю алкоголь.

– Да я, собственно, тоже. – Сосед, похоже, слегка обиделся и замолчал.

Потом они пили кофе, и Стефе было как-то неловко («Ну что я так с ним, ей-богу, вполне приличный мужик. А я какая-то злобная климактерическая идиотка»), и она сама завела разговор. Так, обычный треп: сколько пробыли в Нью-Йорке, в первый ли раз, ну, как вам Америка?

Он с удовольствием включился в разговор. В Штатах семь лет живет его сын, умница, красавец, все слава богу. Сначала, да, было непросто, как иначе, но сейчас он хорошо стоит: дом в Нью-Джерси, работа в стабильной компании, жена, детки... В общем, он за него спокоен.

– А что сами не перебираетесь? – поинтересовалась Стефа.

Он слегка нахмурился:

– Знаете, проблемы, проблемы...

Старая неходячая теща, у жены со здоровьем очень негладко, полгода назад перенесла тяжелую операцию на позвоночнике, пока передвигается по дому на костылях. И потом, работа – как ни странно, ему повезло, неплохая должность, приличная зарплата – и это в его-то возрасте. Словом, сам себе хозяин – а там, у сына, они будут только нагрузкой, обузой. Слава богу, можно летать к детям, было бы на что.

Стефа слушала и кивала.

– А вы? Гостили? – осведомился он.

Она почему-то стала подробно рассказывать об Аньке, об их многолетней, проверенной временем и обстоятельствами дружбе, о прерванном отпуске, о болезни внука...

Он слушал внимательно и с интересом. А потом она вздохнула: в общем, у всех свои проблемы, истина известная.

Они посмотрели по телевизору какой-то дурацкий американский боевик, и она не заметила, как уснула.

Перед посадкой он протянул ей визитку: «Мало ли что, знаете, вдруг смогу быть чем-то полезен». Она кивнула и нацарапала на картонке от сигаретной пачки свой мобильный – ну да, мало ли, вдруг, абсолютно уверенная, что ни «вдруг», ни «мало ли» никогда не случатся.

В зале прилета она цепким глазом сразу увидела Аркадия. Муж стоял, прислонившись к стенке, нога за ногу, руки в карманах, на лице кислая мина – обычное состояние крайнего недовольства окружающим миром.

Стефа вздохнула и, толкнув тележку, направилась к нему.

– Как дела? – спросила она.

Муж недовольно поморщился:

– Как сажа бела.

– Понятно, – ответила она.

В машине Стефа спросила, как внук. Муж раздраженно ответил, что вроде ничего страшного, но Борька Калинин в отпуске, а любимая подружка Наташка Кунельская, как всегда, летом на даче, проконсультироваться не с кем, а можно ли доверять этим врачам, он не уверен. И еще что-то бурчал, бурчал – словом, все как обычно.

– Господи, – вздохнула она. – Неужели надо было меня срывать? Каких-то пять несчастных дней, неужели вы бы не справились?

– Ты же знаешь свою дочь, – буркнул он.

«Да, все правильно. Анька права, я сама во всем виновата. Сама приучила к тому, что без меня не решается ни одна проблема». Три взрослых человека – муж, дочь, зять – терялись при малейших трудностях. Так было всю жизнь – и уже ничего не исправишь, это уже стиль их жизни. Она еще тогда, в молодости, все взяла на себя, а они привыкли, по-другому просто не мыслят. И так всю жизнь.

А дома все понеслось, закружилось. Квартира как после разрухи, бак полон грязного белья, обеда, естественно, нет. Она начала метаться, хвататься за все подряд, разбирать чемодан, размораживать курицу, чистить картошку, мыть унитаз.

Потом появилась дочь – и с порога претензии, обиды. Вечером пришел зять – тихий, забитый, в общем, никакой. Лишняя мебель в квартире.

Потом она висела на телефоне, искала помощи в больнице, где лежал внук, делала котлеты для ребенка, варила кисель. В час ночи рухнула в кровать. Рядом похрапывал муж.

«Господи! – пронеслось в голове. – И это моя жизнь!»

Ноги гудели, а сон все не шел. Она встала и пошла на кухню. На столе стояли грязные чашки. Дочь с зятем перед сном пили чай.

– Ну хоть бы до раковины донесли! – простонала она.

Выкурила сигарету, зашла в ванную и долго смотрела на себя в зеркало. Да, пора опять красить голову – седина не лезет, а прет. Да и вообще к косметичке бы, сеансов на пять хотя бы: массаж, масочку, брови подщипать. Нет, так еще ничего, вполне ничего, только взгляд как у снулой рыбы.

Она вздохнула. Нечего Бога гневить, есть талия (в ее-то возрасте), грудь (вполне, вполне), ноги. Да к чему это все – невостребованный, отработанный материал? А черт с ним со всем: надо просто попытаться уснуть, неохота пить снотворное, завтра куча дел – надо хорошо соображать, а после снотворного она как будто пыльным мешком по голове ударили.

Стефа пошла в спальню, легла, плотно закутавшись в одеяло, и вдруг в голову пришла простая и жуткая мысль: а ведь ничего в жизни уже не будет. Ничего. И никогда. Два убийственных слова, перечеркивающих весь смысл дальнейшего существования. Какое страшное слово – «никогда»!

Наутро все закружилось, завертелось. Больница, разговоры с врачами. Позвонила Борьке в Турцию на мобильный, извинилась сто раз. Он молодец, все скоординировал, направил, связался с кем надо – мальчика перевели в двухместную палату.

Позвонила Мусе, умолила прийти, помочь разгрести. Муся не подвела, отложила свои дела, приехала, вымыла три окна, почистила ковры, постирала шторы.

В квартире, слава богу, стало можно дышать. Вечером с Аркадием поехали в «Ашан». Крупы, овощи, фрукты, мясо – все на неделю, дома пустой холодильник, мамочку готовились встретить, мать их. Поменяла постельное белье и с удовольствием плюхнулась в двенадцать с журналом: только оставьте меня все в покое!

За стеной дочь выясняла отношения с мужем. Как всегда, на повышенных тонах. Наплевать, что стены картонные и жуткая слышимость. Ей всегда было на все наплевать. Эгоистка, хамка и бездельница.

«Господи, ну когда я все упустила, когда?» – в сотый раз спрашивала себя Стефа.

В детстве, когда Инка бесконечно болела? Коклюш, свинка, корь, ветрянка – ничего не прошло мимо. В школу ходила через пень-колоду, а она, Стефа, потворствовала. Горло болит – сиди дома. Сопли потекли – оставайся, не дай бог, разболеешься.

В магазин одну не отпускала: однажды дочь пошла, так шпана отобрала пакет с продуктами и кошелек. На этом закончили.

От пылесоса чихает – аллергия, пол помыть – спина болит, для стирки есть стиральная машина. Готовить? Ненавижу запах жареного мяса. Ну черт с тобой, хотя бы учись! Какое!.. Целый день у телевизора или на телефоне.

Тошная, нервная, вечно чем-то больная, недовольная всем на свете. Кое-как, с грехом пополам засунули в пед. Там семьдесят процентов девок, ребята наперечет. А на€ тебе – нашла же. Правда, такого же, как сама – тошного, нескладного очкарика. На него никто и не зарился, совсем неликвид.

Ничего, сообразили – к третьему курсу ребеночка заделали и свалились все вместе на Стефину голову. Два студента плюс муж Аркадий, потерявший работу. Пришлось всех тащить. Внук не спал до трех лет – кричал каждую ночь. Естественно, не спали все. Дочь окончательно превратилась в неврастеничку, от зятя толку никакого, а муж... На мужа она и вовсе никогда не рассчитывала. Вдохнула поглубже, набрала воздуха – и потащила тяжелый воз. Сама. Ни радости, ни просвета, от всех только «надо, надо, надо». Всем должна и обязана. Не пожалеет никто и не посочувствует, не оценит. Как будто в стане врагов, а не среди родных людей. Почему так сложилось? Значит, сама виновата. Как говорится, каждый кузнец своего...

Не смогла, не сумела – вот и плати. Она и платила. И почти не роптала. Правда, было так жалко себя! Пожалеет, поплачет, Аньке по телефону пожалуется. А та правду-матку:

– Гони всех на хер, хорошо устроились, сволочи! Пусть зять твой пашет по ночам, Инка твоя безмозглая пусть хотя бы на полставки, про муженька твоего и говорить нечего – свесил ножки и поехал. Ни у кого ни совести, ни жалости. Тебя не жалеют, и ты их не жалеешь.

В общем, все мы мастаки давать советы, выстраивать схемы чужих жизней. Чужую беду рукой разведу.

Нет, была, конечно, отдача. Внука Тему любила до самозабвения, до дрожи любила и жалела – родители нукудышные, дед никакой. Старалась ему дать что могла – театр, музеи, цирк, киношки... В воскресенье шатались по старым улочкам, она что-то рассказывала, он слушал открыв рот, а у нее заходило сердце – от нежности, жалости и любви.

Пытались разехаться, но их малогабаритная «трешка» никак не менялась, даже на две захудалые «однушки». А так все-таки у всех по комнате.

Стало чуть легче, когда молодые вышли на работу. Инна, понятное дело, на три рабочих дня в неделю (не переломится) в какой-то частный садик методистом. Зять – в школу, преподавать математику. Зарплаты – слезы, что говорить.

Муж Аркадий лежал на диване и ненавидел все вокруг. Просто искры летели от недовольства. С молодыми не общался, внук его раздражал, со Стефой – так-сяк, с пятого на десятое, снисходительно. Потом, спасибо старому приятелю, пристроился на работу – от издательства развозил книги по точкам. Вроде бы водитель, а вроде бы и нет – все при книгах, при интеллигентных людях. Хотя, конечно, комплексовал – это я-то, с моим дипломом физтеха! В общем, гордыню кое-как смирил, но характер от этого лучше не стал.

Стефа пахала как ломовая лошадь. Продавала БАДы – добавки к пище – от артроза, стенокардии, простатита, гипертонии и просто для похудения. Сама сначала верила в это свято – иначе просто не смогла бы этим заниматься. Потом, правда, пыл поутих, эйфория прошла, но бизнес шел неплохо, и заработки были вполне приличные.

В общем, жили как могли, как многие живут. А кому легко? Кто нам обещал легкую жизнь? Да и вообще, она давно смирилась: жизнь к закату, если и было что-то хорошее (если очень сильно напрячь память), то все в прошлом, а сейчас все по возрасту. Это каких таких

радостей ты захотела, детка? В твои-то пятьдесят! Уймись и радуйся, что ноги носят, внук здоров, семья какая-никакая, и есть небольшие радости в виде трехдневной поездки в Таллин или Ригу, неделка в Турции у теплого моря, новые сапоги (итальянские, между прочим) и вкусный кофе с шоколадным тортом в любимой кофейне. Заслуженно вполне, кстати говоря.

Конечно, много было жалко, ну просто до слез: промелькнувшей, как мгновение, молодости, пробежавшей, как марафонец, жизни, казавшейся не очень справедливой... Вполне обоснованные претензии, кстати. Две-три юношеские влюбленности, закончившиеся, как и полагается, ничем. И дурацкий скороспелый брак – без любви, душевной связи, взаимопонимания, яркого секса. Просто по-дурацки, банально залетела на втором месяце непонятных, неопределенных отношений. Кино – кафе – койка. То, что не влюблена, – понимала четко, как и то, что аборт делать не будет ни за что, это просто не обсуждалось.

Аркадий выслушал ее страстный монолог («Рожу все равно, остальное твое личное дело – вопрос решенный») и, вздыхая, промямлил:

– А я, собственно, ни от чего не отказываюсь.

И они подали заявление. Анька, конечно же, яростно возмущалась:

– На черта тебе он нужен, никакой, зануда, брюзга, ты с ним чокнешься на второй день.

Аньке – пропагандисту пылкой и светлой любви – это было дико. Беременна? Ерунда! Есть мать и отец, не старые, в силе – помогут, никуда не денутся, главное, пережить первый шок. А этот брак обречен. Ну ладно, если тебя так волнуют приличия, выходи, черт с тобой, жри на свадьбе салат оливье, но сбегай от него не позже чем через год.

– Сбегу! – пообещала Стефа.

Как же, сбежала! С той самой невеселой и тихой свадьбы минуло тридцать лет – день в день, год в год.

Дурацкая ситуация порождает сам выход из дурацкой ситуации.

Как продержался их ненадежный брак столько долгих лет? – часто спрашивала она себя. И представьте, находила ответ: виной всему нерешительность, привычка, неспособность принять жесткое решение. Инна, нервная, беспокойная с первого дня своей жизни, совместно купленный кооператив, дачи, строившиеся родителями с той и с другой стороны. И еще какое-то дурацкое чувство вины. Перед всеми: дочкой, родителями, мужем, которого, как ей казалось, она обвела вокруг пальца, обманула, обьегорила, соблюдая свой, корыстный интерес... В конце концов, за сделку с совестью тоже есть своя плата.

Иногда смотрела на Аньку, на ее головкружительные романы – как правило, опустошающие ее до дна. А она ничего. Отлежится, зализет раны – и опять туда же, в тот же омут.

Стефа бы так не смогла! Какие-то бездумные, безудержные качели – вверх-вниз. Вздыхала – видимо, каждому свое. В общем, смирилась безропотно, с голубиной кротостью. Так и жила.

С внуком, к счастью, обошлось – спустя две недели мальчик был дома. А она уже всю пахала – дурила БАДами народ. Жизнь покатила своим чередом.

Он позвонил ей в самые суетливые дни перед Новым годом. Она куда-то бежала (как всегда, сумки, сумки, господи, каблук шатается, не забыть купить хлеба и сметаны к грибному супу, да, и еще в сберкассе – счет за телефон, ведь отключат, а кроме меня, это же никому не нужно).

Сначала не поняла.

– Кто-кто?

Паршивая связь, громко кричала дурацкое «алло-алло, не слышно, перезвоните».

Потом долго соображала, кто звонит:

– Как-как? Леонид? Какой Леонид? Простите, не помню. – Потом наконец въехала: – Да-да, конечно! Как же, как же! Извините, мне сейчас не совсем удобно говорить, спускаюсь в

метро. Вы могли бы перезвонить? Завтра? Да, конечно, завтра. Нет, лучше в первой половине, часов в двенадцать. Не обижайтесь, ладно?

Плюхнувшись в метро на свободное (спасибо, господи) сиденье и отдышавшись, наконец, удивилась. Что ему надо? Вспомнил! И решила: делать нечего, наверное, с праздником поздравить. И забыла обо всем через десять минут.

А он объявился назавтра, ровно в двенадцать. Она была дома одна. Так, разговор ни о чем – дети, внуки, новогодние хлопоты. А потом совсем неожиданно:

– Слушайте, Стефа, а давайте с вами увидимся!

– Увидимся? – удивилась она. И непосредственно выпалила: – А зачем?

Он рассмеялся:

– Ну, просто пообщаемся, посидим в кафе. Вы любите суши?

– Наверное, – пробормотала она.

И они стали обсуждать место встречи.

– Только давайте не у памятников, глупо как-то в нашем возрасте. – А потом усмехнулась: – А вы вообще меня узнаете?

Ерунда какая-то! Она села в кресло и долго сидела, хотя дел было по горло. «Ерунда!» – повторила она. Нет, полная глупость. Надо сейчас же позвонить ему и отказаться, что-нибудь придумать. К чему это все? Полный бред.

Она набрала Анькин номер – потом посмотрела на часы и в испуге бросила трубку. «Господи, у нее сейчас глубокая ночь. Ладно, до завтра что-нибудь придумаю».

А ночью, когда бессонница, извечная спутница, опять начала ее крутить и выламывать, сказала себе: «Да черт с ним, пойду схожу, что, в конце концов, потеряю? Не девственность, точно. Просто проведу время».

Утром замотала свои богатые волосы в тяжелую, гладкую «ракушку», неярко подкрасила губы, надела в уши крупные жемчужины – бижутерия, конечно, но жемчуг очень шел к ее смуглой коже и темным блестящим волосам.

Серая узкая юбка, черный свитер, черные сапоги, нитка все того же жемчуга на шею. Критически осмотрела себя в зеркало: да, немного тщательно, но вполне себе стильно. Впрочем, стиль у нее был всегда. «А вы еще, дамочка, вполне ничего», – подмигнула она своему отражению.

Встретились в центре. Он стоял у Главпочтамта и держал в руке три желтые розы.

«Глупо! – подумала она. – Это в нашем-то возрасте. Какой-то дурацкий намек на возможность чего-то. Очень даже глупо. Свиданка, блин. Ну и как реагировать?»

Она подошла к нему и сказала: «Привет».

Он протянул ей розы, и она усмехнулась. Оба определенно были смущены.

– Я страшно голоден, а вы?

Она пожала плечами. Потом они сидели на втором этаже японского ресторана у стеклянной стены, и внизу растекалась огнями реклам и витрин красавица Тверская.

Болтали – обо всем и ни о чем. Обычный треп, впрочем, даже приятный. Он сидел напротив нее, подливал сладкое сливовое вино, задерживал взгляд на ее лице, и она почему-то смущалась, как подросток.

«А он вполне, вполне, – думала она. – И внешне радует глаз, ухоженный такой мужичок, подтянутый, красивые крупные руки. Словоохотлив в меру, вроде бы не зануда, ничего откровенно дурного не несет, и юмор такой невязкий, интеллигентный такой юмор».

Они вышли на улицу и, завороченные, остановились: с неба падал крупный и мягкий снег, который искрился всеми цветами в ярком свете мигающих реклам и ложился рыхлыми гроздьями на головы, плечи, козырьки парадных и влажную, раскисшую мостовую.

– Господи, какая красота! Просто сказка какая-то! – взволнованно пробормотала она.

Он взял ее за руку и посмотрел в глаза. Потом обнял за плечи, притянул к себе. Стефа прижалась лицом к влажной ткани его куртки и закрыла глаза.

«Идиотизм», – подумала она, но не отпрянула и не вынула свою ладонь из его крепкой и теплой руки.

– Поедем? – спросил он.

Она стряхнула с себя наваждение.

– Куда?

Он улыбнулся:

– Доверься мне!

– О как! – усмехнулась она. И с сомнением спросила: – А стоит?

Он кивнул:

– Не сомневайся.

Она вздохнула и пожала плечом.

В машине они молчали, а по радио хрустальным голосом пела бесподобная и невыразимо печальная Анна Герман.

– Это все из тех лет, – сказала она. – Впрочем, как и мы сами.

Он посмотрел на нее:

– Вот это точно не повод для расстройства.

– Это реальность, – грустно сказала она. – И было бы глупо этого не замечать.

– Смотря как к этому относиться, – не согласился он.

– Как ни относишься, а довольно глупо делать вид, что еще многое возможно и подвластно.

Всему, знаешь ли, свое время. – Она вздохнула и закурила.

– Ты увидишь, что все это не так, – тихо сказал он.

Она рассмеялась:

– Оптимизм в нашем возрасте – это почти диагноз.

Они въехали в плохо освещенный двор где-то в районе «Динамо», он открыл дверцу машины и подал ей руку. А потом опять обнял ее.

Она слегка отодвинулась и внимательно посмотрела на него. Что ж, если я приняла эти правила игры, то нечего выпендриваться. Будем делать вид, что для меня это рядовая ситуация. Господи, только бы не упасть, как дрожат ноги!

Он долго возился с ключами, и она поняла, что это не его квартира. Они вошли в сумрак прихожей, и он нащупал кнопку выключателя. Она огляделась: это была типовая однокомнатная квартира, явно убежище холостяка.

– А ты предусмотрительный, – усмехнулась она.

– Это квартира брата, – ответил он. – Брат месяцами торчит в Новосибирске, у него дела.

– А ты, как я понимаю, поливаешь цветы, – с сарказмом бросила она.

Они прошли на кухню, и он налил в чайник воды. Она смотрела на него и думала: «А он, наверное, ходок еще будь здоров. А что, такие мужики еще о-го-го как в цене. Только зачем ему я? Наверняка может рассчитывать на кое-что и посвежее, и получше. Например, на разведенку лет тридцати пяти».

Они долго пили чай, пытаясь скрыть возникшую неловкость, а потом она поднялась со стула и сказала:

– Ну, мне пора. Ты едешь или останешься здесь?

– Я отвезу тебя, – ответил он.

В коридоре он подал ей пальто, а потом порывисто и отчаянно прижал к себе и поцеловал в плотно сжатые губы.

– Не ведаем, что творим, – пробормотала она и обняла его за шею.

Господи, а ей казалось, что она уже все и давно знает про эту жизнь. Что вряд ли ее можно чем-то удивить, а тем паче потрясти.

Она лежала у него на плече и водила пальцем по его животу.

– Надо двигаться, – вздохнула она. – А как не хочется. – Она тихо засмеялась.

Он наклонился и поцеловал ее закрытые глаза.

– Завтра увидимся?

– Ну ты разогнался! Такими темпами! И потом, завтра тридцатое.

– И что? – не понял он.

– Эх ты! – улыбнулась она. – Тридцатого все порядочные хозяйки варят холодец.

Он рассмеялся.

В машине они молчали, только иногда, освободившись от руля, на светофоре, он брал ее руку. У подъезда она торопливо чмокнула его в щеку и уже с тревогой посмотрела на свои освещенные окна на пятом этаже и выскочила из машины. Поднявшись на лифте, она выглянула в окно общего коридора. Его машина все еще стояла у подъезда.

А потом была суета и предновогодняя колготня. Ей почему-то вздумалось позвать гостей – впервые за последние годы. Она летала по квартире, не чувствуя усталости, зачеркивая на листке бумаги уже выполненные пункты – гусь с яблоками, салаты, пирог с капустой, «Наполеон».

Пришли соседи, милая немолодая пара с внучкой, приехала сестра мужа, одинокая, нелюбимая золовка, точная копия братца – угрюмая, вечно недовольная всем и вся. Но Стефе было на все наплевать. Она рассаживала гостей, резала пироги, укладывала румяного красавца гуся на блюдо, украшала салаты.

– Что-то ты, мам, какая-то возбужденная, – точно подметила, поджав губы, дочь.

– Все вам плохо, – откликнулась она. – Может же быть у человека хорошее настроение!

– Да? – скептически удивилась дочь. – С чего бы это, интересно?

Она улыбнулась и повела плечом:

– А просто так.

– Ну-ну, – мрачно заключила дочь.

В три часа ночи она зашла в ванную и набрала его мобильный. Он не ответил на звонок. «Идиотка!» – ругнулась она, сидя на бортике ванны. Теперь он увидит мой звонок и решит, что я выжившая из ума старая дура. Через минуту пришла эсэмэска: «Поздравляю тебя и желаю тебе». Опечатка, наверно. Она улыбнулась. «И желаю тебе». Глупо, конечно, ошибся в одной букве – и совершенно другой смысл. Она стерла сообщение и вышла из ванной. Настроение у нее было замечательное.

А дальше был сумасшедший январь и не менее безумный февраль. Они встречались два-три раза в неделю – как получалось. И мчались как сумасшедшие в квартиру на «Динамо». Чай уже не пили, жаль было драгоценного времени – не хватало его, времени, наговориться, наобниматься, нацеловаться.

Они даже не заговаривали о совместном будущем, понимая, что этого будущего просто нет. И все равно это было счастьем: видеть друг друга, ощущать, трогать, бежать, задыхаться, терять голову, ждать звонка, считать часы до свидания, сидеть в машине, держась за руки. Просто молчать рядом. Говорить друг другу безумные, молодые, казалось, навсегда утраченные слова. И понимать, что жизнь расщедрилась, непомерно расщедрилась, выкинув напоследок, почти к финалу, такой подарок, справиться с которым пугающе не было сил.

Глобальных планов – нет, не строили. Взрослые, умные люди. А мечтать – мечтали. Ни о каком совместном отпуске, конечно, не было разговоров, а вот вырваться дня на три, конечно, мечтали. Например, в Суздаль. И близко, и колорит, и трехчасовая дорога – почти путешествие. И никого вокруг. Просто отодвинуть всю эту свою жизнь на три дня.

Получилось. Вранья и ухищрений уйма – но цель оправдывала.

Она выскочила из спальни в семь утра, пока все спали, чтобы спокойно принять душ, накраситься, собраться и чтобы никто не крутился под ногами. Выпила кофе – и мышью про-

сочилась в дверь. Сердце стучало, как отбойный молоток. У лифта перевела дух. Там же, в лифте, вспомнила, что не взяла ночнушку и фенотепам. Потом рассмеялась. На черта ей ночнушка и фенотепам? Спать она там не собирается.

Вышла на улицу – было теплое, почти летнее утро. Она посмотрела на ясное голубое небо, глубоко вздохнула и быстро пошла к условленному месту. Через квартал, у «Седьмого континента», должен был ждать он.

А потом было самое прекрасное путешествие в ее жизни – длиной в три с половиной часа. Они болтали, слушали музыку, останавливались на опушке, пили кофе из термоса, ели бутерброды. И не могли поверить, что это все происходит с ними и наяву.

Ночью в маленьком номере гостиницы они впервые заговорили о своем прошлом.

– А я ведь однажды чуть не ушел, – сказал он.

Она молчала.

– Знаешь, мой брак был обречен с первого дня. Матушка-провидица это знала наверняка. Слишком разные люди. В юности думаешь: «Да черт с этим со всем! Какой барьер? Глупо, ей-богу». Она была девочкой из простой семьи. Очень простой. Мать и отец – заводские. Ничего плохого, конечно. Но не из тех работяг, каких любили показывать в кино в семидесятые – типа, умники, перспектива, душа болит за план и родной цех. Да нет, обычные, рядовые работяги низшего звена. Пьющий отец, забитая мать, комната в заводской общежитии. Тихая беленькая девочка с испуганными глазами, глядевшая мне в рот. Хорошенькая, правда. – Он замолчал и затянулся сигаретой. – Очень хорошенькая. Все от комплексов, наверное. А почему еще мужчине хочется, чтобы на него смотрели, открыв рот? В общем, представь, какая была свадьба. Моя мать, потомственный врач, отец, скрипач филармонии, вся наша родня, гости... Короче, в шоке все. У всех взгляд недоуменный, сочувствующий. Интеллигентные люди. Видимо, решили, что невеста беременна и я соблюдаю приличия. Та сторона, невестина, веселится, пьет, народные песни горланит. За столом моих гостей – почти траур. Никто не злорадствует. Хотя, я думаю, могли бы, было смешно.

Жили после свадьбы у моих. Они молчали, ни слова, терпели визиты ее родни, сжав зубы. Через год купили нам кооператив. Мать, конечно, надеялась, что это закончится и у меня наконец откроются глаза. Глаза уже давно были открыты, но она – на шестом месяце. Да нет, она совсем неплохая. Старалась, как могла. Прибиралась, пекла какие-то пироги. А я все думал: ну, случилось, ошибся, с кем не бывает. Все еще можно переиграть, исправить, изменить. – Он замолчал. – В общем, всю жизнь я думал, что что-то можно изменить. Был уверен. Наверное, надо было просто рвать одним махом и уходить. Тогда, в тридцать, сорок. – Он опять замолчал.

– А сын? – спросила она.

– Вот именно, сын, – повторил он. – Для кого-то это не оправдание, но это для кого-то. Парня я любил безумно. Смышленный был с первого дня. Послушный, забавный. Говорить начал в одиннадцать месяцев. Болел без передышек. В три года поставили астму. Аллергия на все, что растет, цветет и шевелится. Тянула его моя мать, очень помогала. Гомеопатия, Крым с апреля по октябрь. Сидели все там с ним по очереди. В общем, вытянули. А знаешь, когда столько вложишь...

Она кивнула.

– А потом, я думал: вот уйду, с кем он останется? С полуграмотной бабкой и пьющим дедом? Ведь непонятно, как бы жена себя повела, если бы я ушел. Театров и музеев он бы точно не увидел. Впрочем, и к жене у меня, по сути, претензий не было: в доме чисто, обед из трех блюд, рубашки поглажены. Все хорошо, все есть, кроме любви. С моей стороны. А она по-прежнему смотрит мне в рот, как я скажу – так и будет. Ни скандалов, ни слез, ни истерик. Придраться не к чему. Хотя, конечно, придирался. Как может раздражать нелюбимый человек, это я отлично знаю. Не приведи господи!

– Это да, – тихо отозвалась она.

– В общем, я смирился. Живут же и так. По-всякому живут. Тем более что я себе ни в чем не отказывал, – он усмехнулся и внимательно посмотрел на Стефу. – Но вот этого я тебе рассказывать не буду.

– Расскажи, – попросила она.

Он приподнялся на локте, внимательно посмотрел на нее и спросил:

– Правда хочешь?

Она кивнула.

– Ну смотри, – вздохнул он. – Один раз все было серьезно. Более чем. Моя коллега, моложе меня на девять лет. Разведенная молодая мать. Умница, красавица. Человек моего круга. Конечно, ей надо было жизнь выстраивать. И конечно, роль любовницы была не для нее. Она не юлила, не прикидывалась, а сразу и честно мне об этом сказала. Я оценил. Был влюблен, и вообще, у нас с ней многое совпало. Я пришел вечером с работы, жена на кухне лепит вареники с вишней – лицо в муке. Расстроилась, хотела сюрприз, не успела. А вареники с вишней я люблю больше всего на свете. В общем, ем я эти вареники, а из глаз слезы. Жалко ее стало до обморока. Она эти слезы увидела и тихо сказала: «Не плачь, все будет хорошо». И сама заплакала. Понимаешь, она меня пожалела. Конечно, все понимала. В общем, сидим мы на кухне и оба режем. А тут звонок в дверь – трое ребят со двора и с ними наш Мишка с пробитой башкой. Мы в Морозовскую – его там обработали, зашили, в общем, ничего страшного, обошлось. Хорошо, что я был дома, машина под окном. Ну, понимаешь, курю я ночью на кухне, мыслей в башке никаких. Но одно понимаю твердо: никуда я не уйду. Отчетливо так понимаю, очень отчетливо. Так что тему развода я той ночью для себя закрыл. Раз и навсегда. Потом, знаешь, как это бывает? Сын растет, школа, институт, отмазать от армии, потом он рано женился. Дачу начали строить. В сорок пять у жены операция, поймали, правда, чудом, в самом начале, а было самое плохое. Тогда я думал: нервы, все нервы. Она же все понимала про то, что меня рядом с ней держит. Что я ей дал в смысле ее женской судьбы? В общем, ничто так крепко не вяжет по рукам и ногам, как чувство долга и чувство вины.

Он долго молчал, а потом добавил с горькой насмешкой:

– Короче говоря, жизнь прошла.

Он поднялся с кровати, подошел к окну и раздернул штору. Оба молчали.

– А что стало с той женщиной? – наконец спросила она.

– С той женщиной? – небрежно переспросил он. – Ничего не стало. Вышла замуж, родила дочку. Ничего не стало с той женщиной, – повторил он. – Впрочем, как и со всеми остальными.

Она тоже встала с кровати, накинула халат и зашла в ванную. Включила воду и долго рассматривала себя в зеркало.

«И со мной ничего не станет, – подумала она. – Конечно, не станет. От любви умирают только в трагедиях Шекспира. Или когда нет сил приспособливаться к жизни. А у меня сил – о-го-го! И опыт тоже. Всю жизнь приспособливалась».

Она усмехнулась, умылась холодной водой и вышла из ванной.

Он внимательно посмотрел на нее:

– Я тебя расстроил? Прости.

Она махнула рукой.

Потом они ужинали в маленьком подвальчике-кабачке, конечно, стилизованном под старую Русь, – медвежатица в горшочках, пироги, медовуха. Гуляли по улочкам, держась за руки, как дети. Было хорошо, спокойно и почему-то немного грустно.

– Нельзя требовать от жизни многого. Я так и не научилась благодарить за малое, радоваться жизни. Ведь и этого могло не быть. Просто не случиться. Значит, спасибо, спасибо судьбе. И не хандрить, и не скулить. Мерзкий характер – печалиться даже тогда, когда тебе хорошо.

И действительно, было хорошо – все три печальных и светлых дня, таких бесконечно длинных и таких неизбежно коротких.

В последнюю ночь она читала ему стихи. Все свое любимое – Пастернака, Вознесенского. Читала долго, почти до утра. Он внимательно слушал, ни разу не перебив. Потом долго лежали и молчали.

– Не грусти, – сказал он.

Она не ответила.

– Может быть, все не так плохо? – с надеждой спросил он.

Она приподнялась на локте и посмотрела на него долгим внимательным взглядом.

– Все очень хорошо. И очень плохо, – сказала она. – В нашем возрасте уже не обманывают и не обманываются. Наверное, было ужасно глупо так глубоко в это вляпаться. Как выбираться-то будем? А? – грустно улыбнулась она. – Две траченные молью душегрейки, пытаемся согреть друг друга.

– На каждую ситуацию определенно есть два взгляда, – сказал он.

– Ну да, ты еще объясни мне, недотумку, что надо радоваться жизни – такой вот подарок небес. В наши-то годы! И еще предложи ни о чем не думать. Ну совсем ни о чем! Просто жить и радоваться. Радоваться и жить. Это и есть твой взгляд на ситуацию, – горько усмехнулась она.

Он пожал плечами и не успел ответить, а она продолжила, пылко и с отчаянием:

– Господи, пойми, я же не замуж за тебя хочу – смешно, ей-богу! Просто я не понимаю, куда это все катится, к чему приведет. Умеем мы, бабы, все испортить, да? – Она улыбнулась и шмыгнула носом. – Ну вот, еще разреветься недоставало. Как девочка.

– Ты – девочка, – тихо сказал он и обнял ее за плечи. – Ты и есть девочка, – повторил он. – Моя любимая девочка.

Она уткнулась ему в плечо и разревелась.

– Хочется поплакать – поплачь. – Он погладил ее по голове.

– А почему ты не говоришь мне, что что-нибудь придумаешь? – всхлипывая, спросила она.

Он замолчал и немного отстранил ее от себя.

Она встала, накинула халат и пошла в ванную. Долго стояла под горячим душем. Когда она вернулась в комнату, он крепко спал, широко раскинув во сне руки.

– Мужики! – вздохнула Стефа и легла с краю.

Утром они выпили кофе в кафе и двинулись в путь. По дороге оба молчали. Потом он закурил, приоткрыл окно и сказал:

– Понимаешь, так лихо завязаны узлы. Просто морские узлы. Не распутать.

Она кивнула.

– И вообще, Бога надо благодарить за такой подарок. Я уже и не надеялся. Уже почти ни на что не было сил. Давай не будем забегать вперед.

– Не будем.

«Надо и вправду молиться на каждый отпущенный день», – подумала она.

Ночью она позвонила Аньке – из ванной, конечно. Анька пришла в восторг от всей ситуации – выпрашивала подробно, как и что. Стефа смущалась и пыталась съехать со скользких тем. Но дотошная Анька требовала подробностей. Стефа телетайпно отчитывалась:

– Все так! Так! Я и не представляла, что такое бывает.

– Вот видишь, – говорила удовлетворенная Анька.

– Прожила до пятидесяти лет и выяснила, что полная дура, – счастливо смеялась Стефа.

– Ни о чем не думай, – учила ее умная Анька. – Живи одним днем. Как будет, так будет.

От тебя все равно ничего не зависит.

– Как не зависит? – пугалась Стефа.

Так пролетело лето – лучшее лето в ее жизни.

В сентябре он сказал, что нужно поговорить, – и они встретились в «их» кафе на Патриарших.

Он был мрачен и сосредоточен. Сначала – обычный треп, так, ни о чем. Но она что-то чувствовала: дрожали руки, и отчаянно колотилось сердце.

– Говори, – велела она ему.

Он кивнул и начал свой непростой рассказ. Проблема заключалась в том, что у его жены были неважные дела. Та, старая болезнь опять дала о себе знать. Состояние не критическое, но нужно принимать меры. Затягивать нельзя. Сын настаивает на поездке в Америку. Про преимущества американской медицины говорить не приходится. В общем, короче говоря, они уже начали собирать документы.

Леонид тяжело вздохнул и замолчал.

Стефа тоже молчала и смотрела немигающим взглядом в окно.

– Я поняла, – наконец выдавила она. – Ты уезжаешь. Навсегда?

Он пожал плечом:

– Кто ж знает?

– Ты. Ты знаешь, что навсегда. И не ври мне. Скажи как есть.

Он молчал.

– Ну и отлично. Не в смысле ситуации, конечно, извини. А в смысле того, что жизнь сама расставляет все по своим местам. Очень правильная жизнь! Очень мудрая! Все решила за нас. Такое облегчение! Никому не надо ни о чем думать!

Стефа вскочила со стула, схватила сумочку и плащ и, обернувшись у двери, бросила:

– Извини, но мне это просто надо пережить.

На улице накрапывал мелкий и теплый дождь. Сквозь серые облака виновато проглядывало робкое солнце. Под ногами кружились желтые и красные кленовые листья. Стефа вспомнила, как в детстве она собирала листья в букеты, проглаживала дома утюгом – и эта красота стояла в керамической вазе почти до Нового года.

«Бабье лето! – подумала она. – Вот такое, какое оно есть на самом деле, – яркое, теплое и короткое. Самое обманное время года! Обманное, нестойкое тепло, обманная, яркая, быстро уходящая красота. Пройдет, как не бывало. Спасибо за то, что было. Как я мудрею!»

Она шла быстрым, даже торопливым шагом, словно убегая от чего-то. Впрочем, ясно от чего.

Ночью, конечно, позвонила Аньке – обе ревели как белуги. Потом Анька сказала:

– Наплюй на всех, приезжай ко мне. Дом большой, нам места хватит. Будешь встречаться с ним, как прежде, только в декорациях другой страны. Устроишься на работу бебиситтером.

– А мои? – испуганно спросила Стефа.

– Не сдохнут. Уверяю тебя, не сдохнут. Твоя Инка зашевелится наконец, а твой Аркашка еще женится – вот увидишь. И все будут счастливы.

– Дура ты, – устало ответила Стефа. – Здесь дети, семья, внук. А там я буду на обочине чужой семейной жизни. Ждать смерти его жены, что ли?

– Ну, это уж как получится, – цинично ответила Анька. – В конце концов, каждый за себя. Такова жизнь.

– Нет, мне это не подходит. Это не для меня.

И Стефа, не прощаясь, нажала «отбой».

Он не звонил три дня. Небывалое дело. На четвертый Стефа сама набрала его номер.

– Как дела? – с наигранной радостью спросила она. – На какое число билеты?

Он ответил, что билеты – да, заказаны. Сейчас собирает последние медицинские справки и выписки и попутно укладывает вещи.

Она спросила:

– Когда увидимся? – Эта фраза далась ей нелегко.

Леонид немного подумал и ответил, что послезавтра.

Он подобрал ее у метро, и они поехали, как всегда, на «Динамо». В этот раз они не были нетерпеливы, как обычно. Долго сидели на кухне, пили чай и молчали.

Она встала, взяла чашки и подошла к мойке, чтобы их вымыть. Он подошел сзади и обнял ее за плечи. Она тихо поставила чашку и выключила воду.

– Ты – лучшее, что у меня было в жизни, – глухим голосом сказал он. – Ты – мое лучшее. Верить?

Она кивнула.

А потом было три часа бесконечной ласки и нежности. Грусти и слез. Благодарности и отчаяния. Самых глупых и самых правдивых слов. Они исступленно ласкали друг друга и не могли оторваться. Она первая нашла в себе силы.

«Только бы не разреветься, – говорила она себе. – Все слезы будут потом. Только бы сдержаться. Я не имею права. Ему и так сейчас не приведи господи!»

– Закажи мне такси, – попросила она. – Пожалуйста, закажи! Если ты меня сейчас повезешь, у меня уже просто не хватит сил. И потом, представь, как мы будем прощаться в твоей машине! – Она вытерла ладонью глаза и улыбнулась.

Он долго смотрел на нее, потом кивнул.

– И не провожай меня, пожалуйста.

Такси приехало через двадцать минут, и эти двадцать минут показались ей вечностью. У двери она обернулась, обняла его рукой за шею и шепнула: «Пока». Больше ни на что у нее не было сил.

До его отъезда оставалось тринадцать дней. Они регулярно созванивались, но твердо решили больше не видеться.

Она прожила эти тринадцать дней страшно. Страшно было знать, что он еще здесь, в городе, в часе езды от нее. Страшно было не видеть его. Страшно было увидеть. Скорее, скорее бы пролетела эта чертова дюжина, эти тринадцать дней!

Он позвонил ей из аэропорта. Говорил торопливо и сбивчиво, словно боялся что-нибудь пропустить. Он говорил ей о том, что жизнь еще не кончена, это все глупости, что с его отъездом все закончится, в наш-то двадцать первый век.

– У тебя же виза на три года, – горячо повторял он. – У меня остается гражданство. В любой день, слышишь, в любой я смогу приехать к тебе. Или ты ко мне. У тебя же там Анька. А здесь, в Москве, у нас остается наша квартира на «Динамо». Все будет, как прежде, слышишь? Я буду звонить тебе каждый день, черт с ними, с деньгами. И ты мне будешь звонить, да? Ведь не зря же изобрели эти чертовы гениальные мобильники! Я приеду скоро, очень скоро, месяца через три наверняка. А они пролетят очень быстро, слышишь!

Он почти кричал в трубку, а она редела и только повторяла без конца:

– Да, я слышу, да. Я все слышу.

Он замолчал и выдохнул в трубку:

– Я просто не смогу без тебя жить.

Потом он заторопился и сказал, что надо бежать.

– Беги! – мягко ответила она.

И – странно – почему-то счастливо рассмеялась. Впрочем, почему странно? Ничего странного. Просто жизнь передумала кончаться и милостиво решила идти дальше. Только слегка в другом формате. Впрочем, какая разница? Ясно, что это не конец света, – и это самое главное. А со всем остальным вполне можно справиться. Люди со многим умеют справляться.

– Беги! – крикнула она еще раз.

Она вышла на балкон. Внизу, во дворе, деревья безжалостно сбрасывали прощальную листву. Последние теплые дни. Осколки бабьего лета. Но впереди будет еще много теплых и

ярких дней. Она была уже в этом почти уверена. И в первый раз вся жизнь показалась Стефе не такой безнадежной. В конце концов, каждый проживает свою судьбу, и ее – не самая худшая.

Она подняла глаза и увидела в небе самолет. Проводила его взглядом и даже махнула рукой. Потом зашла в квартиру и плотно закрыла за собой балконную дверь – уже было прохладно, но, как всегда, еще не топили.

Она обвела глазами комнату, вздохнула и взялась за пылесос. Накопилась обычная куча маленьких и крупных домашних дел. Столько всего!

Она подошла к настенному календарю, висевшему в коридоре. Подсчитала и обвела карандашом декабрь. «Три месяца пролетят незаметно», – подумала она. Как всегда. Она посмотрела на себя в зеркало и улыбнулась.

Беспокойная жизнь одинокой женщины

Бедная Элен! Ну почему так несправедлива бывает судьба! Почему раздает она блага свои совсем не по заслугам, а как придется. Как вздумается распорядиться ей своими капризами. Где же высшая справедливость, наконец, если сценарии судеб пишутся будто бы впопыхах и на черновиках и переписывать их не с руки, да и некогда. Как можно с этим согласиться? А куда деваться? Только ниточка надежды становится все тоньше и призрачнее, и уже почти устаешь ждать и надеяться, но все же. Так скроен человек, и, наверное, в этом есть смысл.

Тогда, давно, в средней школе, она была, конечно же, никакая не Элен, а просто Лена Кирсанова, во всем положительная девочка – никогда и никаких эксцессов, ни двоек, ни плохого поведения. Не ученица, а радость учителя. Правда, ничем особенно не блистала. Но ровная ко всем, наружности приятной, без изъянов, большеглазая, светленькая, чуть плотноватая. Со всеми доброжелательна и в контакте. Вот только русичка, Флора Борисовна, ставила Лене Кирсановой свои бесконечные четверки.

– Все у тебя ровно и грамотно, Лена, – говорила она всякий раз после разбора сочинений. Но смотрела на Лену с каким-то сожалением, видимо, думая о чем-то своем, неизвестном. – Все слишком ладно, и тема раскрыта, но не цепляет. – Она вздыхала и протягивала Лене аккуратную тетрадь, подписанную ровным, почти каллиграфическим почерком. А свои редкие и потому такие ценные пятерки ставила взбалмошной Машке Громовой – та или вообще сочинения не сдавала, или, как говорила Флора, выдавала шедевры. Да бог с ней, с Флорой. Все остальные учителя Лену Кирсанову ценили, как ценят свой покой и чужую предсказуемость. В классе она ни с кем близко не сходилась, общаясь в основном с самым замухрыжным ботаником и отличником Димкой Роциным по прозвищу «метр с кепкой». Что у них было общего? Да особенно ничего, просто Димка – верный товарищ, всегда знал, что задано, и спокойно и объективно разъяснял обстановку в классе. А там уже вовсю закипали страсти и разгорались романы. Самый яркий – у Машки Громовой с красавцем Никитой Журавлевым. Это обсуждали все: и ученики, и учителя. Но интересовало всех, конечно, одно: живет ли Машка с Никитой интимной жизнью, и сочинялись небыллицы по поводу Машкиных подпольных абортгов.

А в начале последнего школьного года, придирчиво рассматривая друг друга, все удивились переменам в Лене Кирсановой, вдруг превратившейся в писаную красавицу: белокожую, сероглазую, с роскошной, выгоревшей после южного солнца копной волос, которые она впервые распустила по круглым, покатым плечам. А фигура? За лето Лена стала выше всех девиц в классе, похудела будь здоров, и образовались тонкая талия, высокая, большая грудь и крепкие загорелые ноги. Но главным было не это. Главное – откуда ни возьмись у тихушницы и скромницы Лены появился загадочный, абсолютно русалочий взгляд. Взгляд в никуда – задумчивый и томный. В общем, это была уже не Лена Кирсанова, а одна сплошная и непостижимая тайна. Мальчишки, естественно, обалдели и притихли. Только Машка Громова сразу все просекла и, поманив Лену пальцем, закурив и прищурясь, спросила в лоб:

– Трахаешься?

Машка есть Машка. Лена не ответила, а просто отошла от нее – вот еще, доверить кому-то свои сокровенные тайны! А тайна, конечно же, была. Там, на юге, у Лены случился пылкий роман со всеми вытекающими последствиями. Предметом страсти оказался ленинградский студент Женя. Расстались легко – никто ни на кого не в обиде. Женя уже вовсю торопился в Питер, в свою разудалую студенческую жизнь, пообещав, конечно же, и писать, и звонить.

Вот тогда-то, в самом начале десятого класса, Тим Щербаков, двоечник и бузотер, классный клоун и балагур, глянув на Лену и присвистнув, выкрикнул, показав на нее пальцем: «Элен! Вот она, Элен!» – Единственный персонаж, запавший ему в душу и пустую голову после того, как в классе прошли «Войну и мир». Все обернулись на Лену и согласились: действи-

тельно, похожа. С тех пор и обращались к ней только так, навсегда забыв про Ленку Кирсанову. Ну что ж, Элен так Элен. Не самый плохой, если разобраться, персонаж. Очень многим даже нравился. Ну если не нравился, то притягивал уж точно. Не всем же быть Наташей Ростовою. Дома умная мама понимала: дочка – красавица, господи, глаз да глаз. Хотя волноваться за Лену не приходилось – та по-прежнему хорошо училась и вечерами сидела дома.

Потом случилось горе: скоропостижно умер Ленин отец – сорок три года, ведущий инженер крупного машиностроительного завода. Семья – никогда не работавшая Ленина мать и сама Лена, в ту пору десятиклассница, – осталась совсем без средств. Мать убивалась по отцу отчаянно – жили они душа в душу, – но еще больше ее страшила их дальнейшая жизнь. Купили в долг вязальную машину и кое-как начали ее осваивать. При тогдашнем тотальном дефиците вязаные кофточки и платья имели приличный успех. Но мать не справлялась, плакала, жаловалась на горькую судьбу, а вот у Элен все получалось аккуратно и гладко. Доставали польские и прибалтийские журналы, переплачивали за импортную шерсть спекулянтам, радовались новым заказам, переживали, если их было мало. В доме сильно пахло шерстью. Весь десятый класс вечерами Лена сидела за машинкой. Какой институт? «Поступлю на следующий год», – решила она. Немножко пострадала по своему первому мужчине – питерский студент не объявился ни разу, но распускать нюни было некогда – дел по горло. Как-то сразу кончилось детство и наступила взрослая жизнь.

На выпускном под громкую музыку немного потопталась с Димкой Роциным, старым приятелем, едва доходившим ей до плеча, и ушла домой. Какие там гулянки до утра на теплоходе? У нее было несколько срочных заказов. Дом их после смерти отца сразу как-то потускнел, очень изменился и затих. Исчезли веселые, шумные и обильные застолья – кому охота в тоску и бедность? Мать хандрит, валялась днями в постели, ходила неприбранная, в халате и стоптанных домашних тапочках. И опять жаловалась на судьбу.

– Одна надежда на тебя, Ленка. Ищи себе приличного мужа, – то ли в шутку, то ли всерьез говорила она.

– Это тебе, мамуль, замуж надо, – вздыхала дочь. – А то ты совсем зачахнешь.

Мать подходила к зеркалу и подолгу рассматривала свое отражение, а потом, вздыхая, говорила: «Что ты, Леночка, мой поезд уже ушел». Но через год вышла замуж за двоюродного брата своего покойного мужа, военного в чине полковника, и укатила с ним в Томск, в новую жизнь. Письма дочери писала восторженные: в квартире сделали – сами! – ремонт, достали югославскую стенку, купили новый финский холодильник в Военторге, шубу себе сшила из серого каракуля. Жили они дружно, и мать опять расцвела. И даже завели маленький огород – так у них там, в военном городке, было принято. В конце каждого письма один короткий вопрос: «Как у тебя, доча?» Без подробностей – ни как там с работой или учебой, ни про личную жизнь, а просто и коротко – «как там у тебя?». Что – «как»? «Плохо» не ответишь – зачем счастливого человека расстраивать? А про «хорошо» тоже особенно не соврешь. А вот подробности мать, похоже, не интересовали, да и особенно хорошего точно ничего не было. Элен и отписывалась гладко – не волнуйся, все нормально. О своем одиночестве – ни-ни. За мать была рада, но все же удивлялась, как из столичной дамы, интересующейся премьерками и нарядами, она превратилась в классическую гарнизонную жену – с засолкой огурцов на зиму, с огородом и посиделками с офицерскими кумушками из женсовета. Душечка, ей-богу. Хотя, что в этом плохого?

А у самой Элен в жизни ровным счетом ничто не менялось. Да и что может происходить, если ты не в вузе и не на работе, а только дома у телевизора вяжешь эти бесконечные юбки и кофты. То, что самые ее распрекрасные годочки утекают, она, конечно же, понимала, как понимала и то, что это не жизнь для молодой и красивой женщины. В один день она достала с антресолей футляр и сложила туда вязальную машину, предварительно протерев ее машинным маслом. Шерсть тоже аккуратно разобрала, сложила в пакеты и туда же, на антресоли. Вот моль

разгуляется! Устроилась секретарем главного врача в районную поликлинику, прямо у дома, пять минут пешком. Зарплата маленькая, но Элен ожила – работа живая, с людьми. Быстро освоила печатную машинку, привела в порядок папки с документацией. Четко координировала звонки и принимала телефонограммы. Не золотой делопроизводитель – бриллиантовый. Надела белый халат – это было необязательно, но так она казалась себе веселее, – зачесала гладко волосы и поплыла белой лебедью по запруженным больными коридорам. Особенно ни с кем не сдружилась, но была со всеми в хороших и ровных отношениях. Жалобы и сплетни терпеливо выслушивала, но дальше не разносила – все поняли, что ей можно доверять. Пожилая физиотерапевт Вера Григорьевна, с которой она приятельствовала, со вздохом и сожалением ей говорила: «Учиться вам надо, Еленочка, что же вам, всю жизнь в приемной сидеть?» Елена отмахивалась: «Успею еще, да и работа моя мне нравится».

Вскоре, конечно же, случился и роман. Разъяренный на какую-то несправедливость пациент, взлетевший на четвертый этаж, в приемную главврача, остолбенел, увидев сидящую за столом Элен. Про жалобы и претензии вмиг забыл – как не было. В конце рабочего дня ждал ее на улице с букетом красных тюльпанов. Звали его Леонид. Был он разведен, жил с дочкой восьми лет, которую ему милостиво при разводе оставила бывшая жена. Дочку свою, Алису, девочку болезненную, тихую и плаксивую, он обожал и отцом был в высшей степени трепетным. В Элен влюбился страстно и с надрывом, страдая и разрываясь между ней и дочерью, с ее школой и музыкой, обедами и стиркой, с ее болезнями и вечно грустным настроением. Страдал, что не может дарить возлюбленной царские, достойные ее подарки и проводить с ней больше времени – все урывками, час-другой вечером, с нервами, телефонными звонками дочке и, конечно же, уходом на ночь домой. Никаких ночевков, упаси бог, – девочку на ночь одну не оставлял. Элен относилась к этому спокойно, страданий и метаний его не разделяла, старалась не обижаться и принимать ситуацию такой, как она есть. Хотя, что греха таить, хотелось сходить вечером и в театр, или посидеть в кафе, или устроить себе неторопливый праздник дома – со свечами, белой скатертью и тихой музыкой.

Но судьба опять не расщедрилась, а так, слегка пожалела, со вздохом, как-то по-сиротски, как подачку, выбросив Элен не женское счастье, нет, а лишь временное спасение от одиночества. Элен была покорна судьбе, и эта история тянулась бы, возможно, годы и годы, если бы не произошло непредвиденное – к ее любовнику вернулась-прикатила, словно побитая собака, бывшая беженка-жена. Окончательно и навсегда – с вещичками. Он ее и пожалел. Перед Элен стоял на коленях, целовал руки и просил прощения, объясняя, что главное – дочь, а дочери нужна мать – какая-никакая. И сходится он с бывшей исключительно из-за девочки, и прощает ей все. Элен отпустила его легко, только чуть-чуть, комариным укусом, кольнуло самолюбие, когда спустя какое-то время на улице увидела их троих, принаряженных, спешащих, видимо, в гости – с тортом и цветами. Жена его была маленькая, тощая, с отросшей пестрой «химией» на голове и длинным острым носом. «Так-то, – подумала Элен, – ничего не стоит моя красота. Дело в другом». В чем? Это и самой ей было неведомо.

Позже гинекологиня Адочка, бойкая бабенка, решила ее просватать за своего дальнего родственника. Жениха рекламировала активно и с удовольствием: и собой хорош, и умница, и эстет, и не беден. Вот только немолод, но это – достоинство, а никак не недостаток. Он пригласил их к себе на старый Новый год. Жил он в старом, крепком доме в самом центре Москвы. Квартира Элен поразила – синие шелковые обои, наборный темный паркет, бронзовые ручки на тяжелых дверях, мутноватый хрусталь на старинных люстрах, гнутые ножки кресел, низкие пуфики с кистями, столики с перламутром, напольные вазы и слегка потертые настенные ковры.

Сам хозяин был элегантен, высок, седовлас и галантен – целовал дамам руки и с гордостью показывал свои картины. Адочка болтала без умолку, а он спокойно, с достоинством и улыбкой, сервировал в столовой ужин. На небольшом круглом столе, покрытом бархатной

скатертью, лежали серебряные приборы с желтоватыми костяными ручками и, естественно, стоял мейсенский сервиз. Все было элегантно и необычно – тонкие кружевные блины стопочкой, две серебряные вазочки с черной и красной икрой, маринованные маслята, розовая семга, желтоватая, со слезой, севрюга и утиные грудки, пересыпанные яблоком и черносливом. Пили, конечно же, шампанское. Говорливая Адочка после изрядной порции икры и блинов поспешила удалиться, а Элен и Павел Арнольдович (так он представился) остались наедине. Элен очень хотелось вдоволь поесть икры, да не с блинами, а с белым хлебом и маслом, но она, конечно, постеснялась, а вот шампанского от стеснения выпила много и от волнения сразу сильно опьянела. Она почему-то стала путано оправдываться и пыталась проговорить эту дурацкую ситуацию – их запланированное знакомство. Выходило это как-то нелепо и глуповато. Хозяин ее успокаивал, улыбался и гладил по руке. Вдруг она поняла всю нелепость происходящего и совершенно некстати расплакалась, и еще у нее очень разболелась голова. Павел Арнольдович растерялся, утешал ее как мог, проводил в ванную и уложил в спальне, укрыв мягким пледом. Элен еще долго мутило, и было стыдно за дурацкие слезы и истерику, но потом она уснула, а проснулась от слабых поцелуев и неспешных ласк. Она удивилась, но противиться не было сил, правда, слегка отворачивала лицо. Все, что было потом, напоминало растаявшее мороженое – ни горячо, ни холодно, ни вкусно, ни противно, а так, сладковато – и все.

Утром они пили кофе из маленьких изящных чашечек, немного смущенные, и опять болела голова. В прихожей он подал ей пальто, поцеловал руку и вложил в нее свою визитную карточку – редкость по тем временам. Элен торопливо сбегала вниз по лестнице, не дождав-шись лифта. На улице ей стало легче, и она обрадовалась свежему снегу и легкому морозному воздуху. Она долго шла по бульварам, не спеша спускалась в метро и все прокручивала в голове сложившуюся ситуацию.

Да, не молод, да, не пылок, но так хочется покоя, и здесь, уж конечно, обойдется без истерик и эскапад, да и к тому же – интересный человек, это наверняка, и, скорее всего, театрал. Она сняла с головы шарф и быстрой походкой пошла по белому, хрусткому, только что выпавшему снегу. Павел Арнольдович позвонил Элен дня через три и, усмехаясь, сказал, что был бы рад увидеться с ней в субботу, да-да, именно в субботу: он человек немолодой и любит определенность и размеренность. Что ж, суббота так суббота, очень даже удобно, решила Элен.

В субботу – интимная встреча, а в воскресенье, после легкого завтрака, можно прогуляться, зайти на выставку, вечером сходить в театр или на концерт. Так думала она, а вышло все совсем не так. В субботу он действительно ее ждал и принимал радушно и слегка чопорно, что опять очень смущало ее, опять был накрыт ужин с шампанским, далее все было опять так же – вяло, быстро и слегка приторно. В общем, без вариаций. А утром он поил ее крепким кофе и элегантно, но старательно и даже настойчиво выпроваживал. Было видно, что он устал и мечтает как можно скорее остаться в одиночестве. Слегка разочарованная и обиженная тем, что ею пренебрегают, Элен медленно спустилась по лестнице и опять задумчиво шла по бульварам, чувствуя себя одинокой и ненужной. Адочка рассказывала Элен, что когда-то давно, в молодости, Павел Арнольдович был женат на необыкновенной красавице, оперной певице, рано скончавшейся от болезни крови, и тогда он дал себе зарок не жениться никогда и так прожил свою жизнь бобылем, хотя баб, конечно, было море – и актрисы, и балерины, и стюардессы. Бонвиван он был известный – бабы за ним увивались, да и деньги у него водились всегда. А сейчас уже не тот, да и не до того, и нужен ему покой и тихая приличная и интеллигентная женщина, без дури в голове и не алчная до денег. Только, не дай бог, не старуха, нет-нет. Лет до тридцати и обязательно красавица – он был эстет.

– А чем он занимается? – спросила наивная Элен.

Докторша вздохнула и многозначительным шепотом сказала, что он деловой человек. И добавила:

– Очень деловой! Понятно?

Особенно «понятно» Элен ничего не было, кроме одного – ею с удовольствием пользуются. Опять пользуются. Судьба, что ли, такая?

«И я буду пользоваться, – вздохнула она. – По-моему, вполне справедливо».

Но все эти установки не работали – этому никак не способствовала ее натура. Очень скоро она привязалась к Павлу Арнольдовичу и стала относиться к нему с той женской, почти материнской, заботой, которую он видел только от старой домоправительницы, экономки, как называл он ее. К такой заботе со стороны любовницы он не привык и был удивлен и смущен. Теперь, когда он прибалывал, Элен растирала ему спину, заваривала в термосе травы, делала согревающие компрессы, кутала его в теплые, из собачьей шерсти, свитера, варила каши и бульоны. Сначала он отнекивался, а потом быстро привык и даже почти перестал играть уже поднадоевшую самому себе роль обольстителя. Годы брали свое. Теперь Павел Арнольдович ценил Элен безумно и привязался к ней не на шутку, пугаясь этой незнакомой ему зависимости. «Редкий экземпляр!» – думал он каждый раз, глядя на нее.

– Тебе бы, Леночек, мужа хорошего да богатого, эх, где мои года-годочки! – кокетничал он. Недоверчивый ко всему и ко всем, он даже вручил ей ключи от квартиры – случай в его жизни небывалый.

Так мирно и смиренно они бы и существовали и дальше, вполне довольные друг другом, если бы в жизни Элен не случилась перемена. Или судьбоносная встреча, если хотите. Она наконец влюбилась. И объект опять был слабоват для ее первого и сильного чувства – одинокий и незадачливый литератор, считающий себя, конечно же, великим писателем, пишущий, разумеется, в стол, к тому же сильно пьющий неврастеник. В общем, все как положено. Звали его Григорием. Жил он в нищете в однокомнатной «хрущобе» на первом этаже, где его с удовольствием посещали местные маргиналы и алкаши. В состоянии сильного подпития был почти агрессивен, а после начинались рыдания и жалобы на вселенскую несправедливость. С собой он был вполне хорош – высокий, худой, с красивыми, крупными руками и темной окладистой бородой. Будучи не в духе (а это было его основное состояние), называл Элен строго – Еленой Васильевной, а изредка, находясь в состоянии добродушном, ласково и пошловато величал Лялечкой. В быту, как все одинокие и пьющие люди, был неприхотлив – питался чем бог пошлет, а точнее тем, что принесут друзья в качестве закуски: дешевой колбасой, луком, плавлеными сырками. Элен взялась за дело серьезно – сначала сделала генеральную уборку (не поленилась, притащила из дома пылесос), потом повесила на окна занавески, прихватила из дома кастрюли и чашки, на подоконник поставила два горшка с фиалками – белыми и розовыми. Григорий смотрел на это скептически, приговаривая, что в жизнь свою глубоко он ее все равно не допустит, как ни старайся. Она на его колкости не отвечала, молча варила густые мясные щи, и утром, в похмелье, отведав их, он почти смирился с ее активным вмешательством в его холостяцкую жизнь.

Элен все это вполне устраивало, очень хотелось – так было легче – считать его гением. Любила она его сильно, не пыталась ни в чем переделать, принимала таким, как есть, жалела, ненавязчиво заботилась о нем, а когда он раздражался и даже оскорблял ее, тихо плакала, доводя его этим почти до иступления, но все же он сдавался. С Григорием она впервые познала истинную физическую любовь, пусть замешанную на слезах, жалости и обидах, но все же истинную, плотскую, яркую, приправленную соленым потом и вкусом крови на покусанных губах. О Павле Арнольдовиче Элен тогда почти забыла, но он объявился сам, найдя ее и сетуя на то, что она его, больного и одинокого, совсем забросила. Ей почему-то стало стыдно, и она отправилась к нему в субботу, как прежде, рассчитывая только на кофе и дружескую беседу. Он был, как всегда, элегантен, гладко выбрит и приятно пах. В столовой был накрыт ужин на двоих – крабовый салат, бараньи отбивные, шоколадное мороженое. Элен выпила красного вина, расслабилась и подумала, что впервые за многие месяцы ей хорошо и спокойно. Павел

Арнольдovich вышел в кабинет и торжественно вынес маленькую черную бархатную коробочку. В коробочке лежали золотые часы на плетеном браслете – изящные, прелесть! Ушла она от него утром, ничуть не смущаясь и не жалея о происшедшем – это и вовсе ей не казалось изменой. Боже, какая же это измена? Смешно, ей-богу. Это была совсем другая жизнь, совсем другая история, не имеющая к ее любви никакого отношения. Как хотите, но это был долг, что ли, да, наверное, все-таки долг, как смешно это ни звучит, и еще, наверное, жалость, да, опять жалость, и уважение, и хорошее отношение. И кому от этого стало плохо? Так и начала она опять ходить по субботам к Павлу Арнольдovichу – нет-нет, не из-за часиков, конечно, и не из-за бриллиантовых сережек, и даже не из-за денег, которые он теперь деликатно подкладывал ей в сумочку и на которые она потом кормила своего непутевого возлюбленного. Скорее по привычке, отчасти из благодарности и еще в поисках того, чего ей так теперь не хватало, – душевного покоя и комфорта. Павел Арнольдovich был тонок, умен и, конечно же, догадывался, что у Элен есть другая, параллельная, жизнь. Его это смущало и корбило, но все же привязанность к ней была сильнее, и, удивляясь своей слабости, он впервые в жизни закрывал на это глаза.

А вот Григорий пребывал в полном неведении, радуясь безмерно тому, что субботний его вечер полностью свободен и двери открыты для прежних друзей. В общем, все как-то образовалось, и все были довольны жизнью. С годами Элен погрузнела, особенно затяжелели низ и ноги, причесывалась она теперь гладко, почти не красила глаза, только слегка трогала губы светлой помадой. Красота ее, и от природы неяркая, теперь стала совсем смазанной и бледной, но все же лицо было гладким и чистым, волосы тяжелыми, а глаза ясными – неброский тип среднерусской красавицы, только взгляд печальный, оттого и выглядела она старше своих лет. Как-то у метро встретила своего первого любовника – Леонида, с трудом, правда, узнала его: полысевшего и какого-то обшарпанного, что ли. Он ей страшно обрадовался, они расцеловались и долго стояли под мелким морозящим дождем – говорили обо всем. Он опять винился перед Элен, бормотал, что любил ее страстно, но не мог поступить иначе – только из-за дочки, несчастной девочки. Но за предательство поплатился сполна – вскоре жена опять от него ушла, теперь, похоже, насовсем. Долго рассказывал про уже взрослую дочь, девочку славную, но очень травмированную и сложную. Элен охала, вздыхала, качала головой и пригласила зайти на чай, так, из вежливости. Он донес ее сумки до знакомого подъезда, держал за руки, опять говорил, говорил и все никак не мог с ней расстаться. Позвонил он ей на следующий же день и стал отчаянно приглашать в гости. Она долго отнекивалась, ссылаясь на занятость и усталость, что было, собственно, абсолютной правдой, но все же сдалась – вечером он встречал ее у работы. Ее ждали: на кухне был накрытый стол – ветчина, сыр, торт и кофе. Из комнаты вышла Алиса – невысокая, тоненькая, очень похожая на свою мать, только без стерживности и вечного поиска во взгляде. Девочка вела себя молчаливо, но вполне доброжелательно – наливала кофе, резала торт и тихо просидела весь вечер, примостившись на краю стула. Леонид, страшно возбужденный, суетился – пытался острить, показывал фотографии: они с дочкой были заядлые походники. Потом вынес дочкины акварели – Селигер, Карелия, Байкал. Алиса смущалась: «Ну хватит, пап!» Элен засобиралась домой. В дверях девочка взяла Элен за руку и, глядя ей в глаза, тихо попросила заходить почаще.

Ночью Элен не спалось – сердце сжималось от жалости к этим двум неприкаянным и одиноким людям – Леониду и его дочке. Потом она еще думала о Павле Арнольдovichе, тоже одиноком и нездоровом, о своем несчастном и пьющем Грише, и всех ей было жалко, жалко! Она вдруг остро почувствовала, как она нужна им всем, что они без нее просто не справятся, пропадут, обездолятся. И ни на что ей теперь хронически не хватало времени. Дом свой совсем запустила, плюс работа – а там столько бумажной волокиты. Понедельник, среда, пятница – Гриша, суббота – обязательно Павел Арнольдovich: а как же, он без нее пропадет. А вторник и четверг теперь принадлежали Леониду и тихой нервной девочке Алисе, с которой Элен крепко подружилась. И все они ее ждали. С Леонидом она все четко расставила по местам – мы друзья,

и не больше, точка. Но он продолжал надеяться, заверяя в который раз в своей большой любви, приходил к ней, чинил краны, утеплял поролоном окна на зиму, переклеил обои на кухне. И однажды остался. Чтобы не мучиться, Элен решила ни о чем не рассуждать. Просто – было и было. От кого убыло? Или кому-то стало плохо? В конце концов, она человек не только жалостливый, а еще и свободный. В общем, у всех жизнь складывается по-разному.

Так вот и жили: Гриша попивал и пописывал, Павел Арнольдович дряхлел и прихварывал, а Леонид с Алисой опекали Элен (или она их) и дружно, вдвоем, молились на нее. Все в этой жизни устраиваются как могут. А Элен и вовсе не собиралась устраиваться – у нее просто все так сложилось.

Осенью как-то поехала на Арбат – просто так, пошататься. Задержалась у нового ресторана – при входе было вывешено меню. Она с удивлением стала вчитываться в непонятные слова, шевелила губами и удивлялась сложносочиненным названиям и сумасшедшим ценам, ошарашенно качая головой. Кто-то дотронулся до ее плеча. Она обернулась и увидела невысокого худого мужчину, прекрасно и, видимо, дорого одетого, за спиной у которого стояли двое – явно охранники.

– Элен? – неуверенно спросил мужчина.

– Господи, Димка, Рощин, ты, что ли? – раскудаhtалась она. Они стали смеяться от радости и неожиданности, были друг другу рады и разглядывали друг друга с явным интересом. Элен вдруг представила себя со стороны – постаревшая, пополневшая, неважно одетая – и расстроилась до слез, до комка в горле. Но Димка, похоже, был искренне рад случайной встрече и пригласил ее в этот самый ресторан, куда он приехал пообедать. Элен страшно смутилась, покраснела, долго отнекивалась, лихорадочно вспоминая, какой у нее свитер под пальто и отглажена ли старая юбка. Потом, вздохнув, сдалась. А кому она вообще могла отказать?

Ресторан был японский, она в таком и не бывала, интерьер, обслуга, приборы – все стилизовано.

– Закажи на свой вкус, – попросила она. Первый раз в жизни она попробовала сливовое вино и ела салат из морских водорослей. Потом еще был жареный угорь неземной вкусноты.

Димка ел совсем мало, много курил и задумчиво и подолгу смотрел Элен в глаза. Потом он рассказал ей, что разбогател в девяностых – обычная история, потом пережил банкротство, но поднялся вновь. Женат был дважды – первая жена, классическая дура, не дождалась его, Димкиного, расцвета и ушла с дочкой, а потом кусала локти, билась и просилась обратно. Вторая – из моделей, красы неземной, но стерва, конечно, он всегда это понимал, но на какое-то время успел все же потерять голову, за что потом и поплатился: она спала со своим водителем и потрошила Димкины счета. При разводе ей достались и загородный особняк, и квартира на Патриарших, а сама она, между прочим, родом из Кременчуга.

– Да что там говорить, все по сценарию, – добавил он со смехом. – Теперь главное, что бизнес, тьфу-тьфу, идет. Хотя нет, это не главное.

Главное, добавил он, погрузнев, что как он богат, так же и одинок. И длинноногие и алчные наяды его уже и вовсе не интересуют, хотя этого добра – завались. Но он отлично понимает, что им от него надо, а он уже на эту удочку не клюнет, не идиот же, а вот нормальную женщину он так и не встретил – не повезло.

– Хотя нет, почему? – развеселился он. – Вот как раз сегодня и встретил! – А потом посерьезнел и спросил: – Ты замужем, Ленка?

– Нет. – Она покачала головой. – Тоже не сложилось.

Потом они замолчали и пили кофе с маленькими, словно игрушечными, пирожными.

Через две недели Рощин позвонил ей и предложил выйти за него замуж.

– Шутник, – ответила Элен.

– Это не шутки, – вполне серьезно ответил он. – Я тебя знаю сто лет, знаю, какая ты. Надежность – вот что самое главное, этому меня научила жизнь. И то, что я любил тебя в школе, ну, в общем, первая любовь, это тоже со счетов не скинуть.

– Да? – удивилась Элен.

– В общем, подумай, Ленка, мы с тобой люди проверенные, все в жизни повидали. Плохого я тебе не предложу, и жизнь тебе обещаю не самую унылую, – рассмеялся он.

Элен тоже рассмеялась, сказала «спасибо за доверие» и согласилась подумать. Утром она позвонила Димке и очень долго извинялась и просила принять и понять ее отказ. В жизни своей она ничего изменить, увы, не может, все так крепко завязано, ну просто морские узлы. И ничего тут не поделаешь! Слишком много близких людей пришлось бы ей оставить в той жизни. И скорее всего, они без нее пропадут.

– Ну, в общем, помнишь, как там, у Экзюпери, – смущенно лепетала она, – ну, про то, что мы в ответе за тех, кого приручили?

Она еще раз извинилась и, вздохнув, быстро повесила трубку. Потом посмотрела на свои часы – на крупном циферблате был обозначен день недели. Так, среда, Гришин день. Она вздохнула и начала собирать сумки.

Элен вышла из дома. До пункта назначения было недалеко, но все же она решила проехать две остановки на троллейбусе – сумки прилично оттягивали руки. В троллейбусе ее, как водится, расплющили и прижали к окну.

«Нет, надо было пешком, все же пешком», – подумала Элен. Она с трудом высвободила одну руку и потянулась к компостеру, чтобы пробить билет. Вдруг ее словно подбросило. «Господи, какая же я все-таки россомаха! Как я обошлась с Димкой, ну просто как последняя сволочь! Ах, ах, у меня своя жизнь, и все места в ней давно распределены согласно купленным билетам. И для тебя, Димочка, уже места не осталось. Как я могла? Ведь он такой одинокий!» – корила она себя.

Самый давний друг, самый близкий, что может быть ценнее?

«Сегодня, сегодня же позвоню ему, и определимся со встречей. Что же, я времени не найду? Приглашу его в гости, испеку ватрушки – он их всегда любил. Или сходим с ним в кино, а может, просто погуляем».

Элен с трудом протиснулась в дверь и вышла на улицу. Ярко светило щедрое солнце, стучала капель, и в воздухе пахло весной и надеждой. Элен сняла с головы косынку, прикрыла глаза и подставила лицо легкому, свежему ветерку. Настроение у нее было расчудесное.

Триумвират

Почему Тата вышла за Бориса замуж? Она и сейчас, спустя столько лет, не дала бы вразумительного ответа. Может, просто время подошло? А ведь и любви безумной не было, и не назло кому-то, и не по расчету (какой уж там расчет!), а просто чувствовала, как любая женщина, что красота ее и молодость утекают, как мелкий речной песок между ладонями, – не по дням, а по часам. Правда, был один небольшой волнующий секрет: первые годы бросало их друг к другу, едва оставались наедине, и занимались они этим увлеченно, как только представлялась любая малая возможность. И это при почти коммунальной жизни – в крохотной квартире, с часто работающей дома матерью. И еще при Татиной вяловатой натуре, хотя, впрочем, и это довольно скоро закончилось, как часто бывает в семейной жизни.

Познакомились они в метро. Тата, усталая, ехала с работы. Глаза прикрыла и услышала: «Модильяни, ну просто Модильяни». Она открыла глаза и увидела невысокого, худого, бородастого мужчину в тяжелых и немодных очках в роговой оправе. Ей показалось, что он довольно интересный, правда, потом увидела, что зубы никуда не годятся, да и одет бедно и неряшливо. Скорее всего, холостяк.

– Простите, я художник, – оправдался он.

– Похоже, – хамовато, с пренебрежением буркнула Тата.

– Невозможно пройти мимо этой красоты – Модильяни обожаю.

Тата передернула плечом: и что, мол, с того?

– Я вас провожу? – полуспросил он.

Вместе вышли из метро, до дома было недалеко. Донес сумку, без умолку болтал. Она слушала вполуха, но согласилась в субботу увидеться. В голове топталась мамина фраза: «Замуж надо выходить в институте. Дальше – тишина». Поужинав, вместо родного дивана и «Иностранки» не поленилась и поднялась к соседке – искусствоведше Аллочке. Поинтересовалась Модильяни. Та удивилась, но кивнула: отдельно нет, а так поищи сама – и сунула в руки толстенный том.

Модильяни Тате не понравился, но справедливости ради она отметила, что сходство точно есть: небольшие головы, удлинённые лица и носы, узковатые глаза, длинные шеи и тонкие талии, а главное, главное – основные Татины забота и расстройство – тяжелый низ и полноватые ноги. Вдохнула. Полистала альбом и пожалела, что не походит на румяных, очаровательных и белолицых дам Ренуара, вот они какие – милые, славные. Жаль, в общем.

На свидание в субботу Тата пришла нарядная – синяя в белый горох юбка, белый пиджачок. Мать ее, Нонна Павловна, одна из лучших закройщиц Москвы. Уж про дочку-то не забудет! Рядом с Татой Борис совсем потерялся, смотрелся затрапезно и нелепо.

Господи! На первое свидание явился в почти тренировочном костюме, а сверху кошмарный, рыжего цвета пиджак из дерматина. Тата сжалась – вдруг предложит кафе или ресторан, как с таким зайти? Стыд. А он и не думал ничего подобного предлагать и повел ее в место куда более интересное – в мастерскую друга-художника, в подвал на Сретенке. По дороге опять много болтал, рассказал всю свою жизнь, что сам из Иванова, окончил Строгановку, мастерской своей, конечно, нет и быть не может – пробивается сам, собственным трудом, а это непросто и даже очень тяжело. Заказы не дают, так как он не член Союза художников, а в Союз не пробьешься, там московская мафия. Прибивается к товарищам, пашет на них бесплатно, почти мастеровым, но за это имеет возможность работать в мастерских. Прописка временная есть, а вот влиятельного папочки нет. Все непросто, но он не унывает и верит в свою звезду.

Мастерская на Сретенке поразила Тату своими размерами, высотой потолков, полуподвальной прохладой и огромной гипсовой головой вождя, стоящей при входе. Братья-художники, как называл их Борис, приходили и уходили, пили чай или кофе, иногда, под вечер, водку

под примитивную закуску, почесывали бороды, сдержанно похваливали друг друга, презирали «придворных» и успешных живописцев и скульпторов, пристроившихся к «кормушке». При этом хозяин мастерской, молодой и высокий брюнет, тоже с бородой, был сыном одного из «этих», но себя к ним не относил. Находился в постоянной конфронтации с отцом, хотя и пользовался папиными благами, и при этом пытался все же мыслить свободно и собирать вяло бунтующий народец.

Приходили с разными девицами – красотками и не очень, но своих «художественных» дам слегка презирали за странные наряды и чудной вид (мундштуки, килограммы самоцветов, длинные вязаные юбки, утомленные взгляды). Общались с ними исключительно по делу, дружески.

Тате показалось, что после своего нудного статистического института и капризных маминих клиенток она попала в свободный и сказочный мир. Тут жизнь была ключом – неведомая и непонятная. Она могла целый вечер, забравшись с ногами на протертый кожаный пятидесятих годов диван, заморожено слушать их бесконечные разговоры об искусстве, о смысле жизни, да и просто сплетни. А посплетничать и посчитать чужие (конечно же, незаслуженные!) гонорары эти взрослые и бородатые дядьки ох как любили. Да, еще она там была при деле, на подхвате: кофе сварить, бутерброды нарезать, картошку пожарить, вымыть посуду – словом, свой, нужный и надежный человек.

А когда, приболев, пропустила пару выходных, ее хватились: а где Борькина девушка? И явно обрадовались ее приходу.

Маме, Нонне Павловне, конечно, кавалер не нравился. Все причины были налицо. Во-первых, иногородний, как тогда говорили, лимита, подозреваемая лишь в одном: посягательстве на нашу законную московскую прописку и, как следствие, на жилплощадь. Во-вторых, ладно бы художник, а то так, ремесленник – подай, принеси, гипс размешай. В-третьих, неряха. И это не оттого, что беден, а оттого, что таким родился. А перспективы? Да никаких. Пусть эта дурочка Татка верит в его «звезду», а она-то, Нонна Павловна, чувствует своим материнским сердцем, а его не обманешь.

Да и вообще, придет в ее дом, на все готовое, что годами и трудом нажилось, и начнет тапочками шаркать, чай прихлебывать (Иваново!) и курить вонючие папиросы. А денег – денег точно в дом носить не будет. Хотя, если подумать, Татке уже к тридцати катится, не красавица, тяжелеет низом, на работе – одни бабы, а сама безынициативная, инертная какая-то. Ну черт с ним, пусть приводит, успокаивала себя Нонна Павловна.

Сама она уже вдовела девятый год после крепкого и честного брака по ранней, школьной любви. Больше ни о чем ни разу не подумала (в смысле, дальнейшего устройства своей женской судьбы). Слишком хорош во всех отношениях был ее супруг, Татин отец, но притом хорошо понимала, что такое женское одиночество. И никак не хотела она такой судьбы для своей единственной дочери.

Была Нонна Павловна отличная закройщица, работала в закрытых ателье – сначала при Литфонде, потом при ВТО. Знала многих известных людей и, как с иронией говорила, «подруживала» с ними. Ее ценили – она была профессионалом, никогда не указывала на недостатки, подчеркивала (с удовольствием!) достоинства, не сплетничала и говорила, что всегда помнит: она – «бытовые услуги». Зарабатывала в те годы очень прилично, а главное – связи и знакомства, иными словами, блат, главное в устройстве страны тех лет. Блат – это югославские обои, и шторы-ришелье, и люстра с ониксом, и румынская мебель, и «Розенлев», набитый заморскими баночками, и билеты на премьеры, и хорошие путевки. В общем, дом – полная чаша. И Тата за матерью как за каменной стеной.

Вот в такой-то рай, тихий, сытый уют и попал незамысловатый ивановский парень. Что скажешь? Повезло! «Ладно, вытяну как-нибудь», – подумала Нонна Павловна, брезгливо

осмотрев на пороге и самого претендента в зятя, и его рубашку-ковбойку, и брючата, и рюкзачок. Оглядела – и впустила в свой дом.

Вот только пышную свадьбу в ресторане делать отказалась. Да молодые и не настаивали. На свадьбу пришли двоюродная сестра покойного мужа, Татина тетка – единственная и нелюбимая родственница, одинокая и молчаливая армянка Аида – закройщица из ателье, где работала Нонна Павловна, соседка-искусствоведша Аллочка и еще две закадычные Татины подружки с самого детства – Люка и Пуся.

Из всей этой компании Нонна Павловна больше всех уважала Пусю – и семья приличная, и сама умница. Зажала ее в уголке на кухне и зашептала: «Ну как тебе этот? На мою шею посадила».

Умница Пуся закурила и, улыбнувшись, сказала:

– Ну, шея-то выдержит, главное, чтобы ей было хорошо. Знаете, я ведь о таком уже даже и не мечтаю. Так что вы не по адресу. – И сухо рассмеялась.

У самой Пуси была какая-то вялая история с аспирантом отца, женатиком из Свердловска. Он пользовал ее только до написания кандидатской. Потом, как водится, некрасиво слинял. В общем, история была недлинная и определенная. Потом она сказала Тате, что из-за этого столько копьев поломано, а все – фигня.

– А искусство, а вся мировая литература? – возразила Тата.

– Ну, процентов на восемьдесят человек сам все сочиняет, сначала украшает себе жизнь, потом страдает. – Вот такой опыт вынесла она из своей первой любви, практичная и критичная Пуся.

Как-то, будучи еще детьми и играя во дворе, девчонки громко выясняли отношения, почти ссорились из-за своих важных девчоночьих дел. Какая-то женщина ждала, видимо, на скамейке во дворе кого-то, читая газету. Гвалт подружек ее отвлекал и раздражал, но когда она услышала их имена, то, удивленно переспросив, поморщилась недовольно: «Не имена, а клички какие-то собачьи». Девочки притихли и смутились. Не растерялась только самая шустрая и рассудительная Пуся.

– Вот и нет, – объяснила она. – Тата – это Татьяна, производное Люка – от Людмилы, еще с детства. А у меня действительно что-то вроде прозвища, дома так называют, Лапуся, Пуся. Хотя зовут меня Наташа, – смутившись, закончила она.

– А-а, – протянула, зевая, женщина и приказала строго: – Поменьше орите-то.

Девочки притихли.

Дружили они, кажется, с рождения. Ну, с Татой все ясно. А вот Люка жила с матерью, сестрой-хозяйкой Дома ребенка, тянувшей всю немаленькую семью – старую ворчливую бабку, младшую Люкину сестру и полупарализованного алкаша-мужа.

В квартире везде были следы ее интенсивного труда в детском доме – сероватое постельное белье и вафельные полотенца с черным штампом «Д. Р. № 13»; эмалированные, с отбитыми боками баки и кастрюли, маркированные красной масляной краской: «Мясо», «Сметана», «Для кипячения»; простые серые тарелки и шершавые чашки в оранжевый горох – тоже подписанные. Еще она таскала в трехлитровой банке супы: с фрикадельками, пшеном, жидкие борщи, серые плоские котлеты и нарезанное кубиками сливочное масло.

– Всех вас кормлю, – угрожающе напоминала она.

– Не ты, а советское государство, – отвечала ей беззубая бабка.

Когда в детстве иногда Тата забегала за Люкой, ей казалось, что она попала в преисподнюю.

«Милая мамочка! – проносилось у нее в голове. – Какая же я счастливая».

Правда, была еще одна небольшая деталь: Люка была красавица. Настоящая. Писаная. Хорошего роста, талия, бедра, ноги – все загляденье. Лицо – фарфоровая кукла, как говорила Нонна Павловна. Синие глаза, нос, рот, каштановые волосы густоты невероятной. Выстригала

клоки, чтобы заколка «хвост» держала. После восьмого класса отделилась, ушла в медучилище. С подругами стала общаться реже – они еще школьницы, а она уже студентка.

Пуся – полный антипод Люке. Во всем. Профессорская семья, дома держали домработницу и няню для Пуси. С пяти лет Пуся говорила по-английски, с семи – довольно прилично по-французски. Но вот незадача: некрасива была до невозможности, до общих слез – и сама все понимала, с самого детства. Некрасива так, что люди отводили глаза. Домашние это не обсуждали, не принято. Равно как не обсуждали бы и красоту. Внешние данные в этом доме во главу угла не ставили. Главное – интеллект, эрудиция, образование – вот смысл жизни, три ее кита.

Ну конечно, конечно, у Пусиной матери, профессорши-ларинголога, сжималось сердце при взгляде на мышинные волосики дочери, ее крючковатый нос, крупную, выдающуюся челюсть (спасибо бабушке-кантору), выпуклые глаза, сутулую спину. Невеселая картина. Но сколько всего можно добиться в жизни, не отвлекаясь на глупости, успокаивал мать академик-отец.

В одиннадцать лет прочла всего Толстого – пожала плечами. В тринадцать – Достоевского. Отодвинула, не понравился. Сказала, что противно и неприлично так ковыряться в чужой душе. В четырнадцать лет одолела всю русскую классику. К шестнадцати завершила круг классиками зарубежными. С чтением покончила и стала интересоваться науками точными – живыми и перспективными, увлеклась генетикой.

В школе успевала так, что любой факультет МГУ был для нее открыт. Если бы не пятый пункт. На выпускном получила серебряную медаль. Золотую дали бледной и забитой Ирочке Смирновой, зубриле, в подметки Пусе не годившейся. Все возмущались. Но на биофак в МГУ поступила легко.

На Татину свадьбу пришла одна, усмехнулась: «Я соло». Красавица Люка привела мужа, врача из Первой градской, и была, похоже, уже слегка беременна.

– По-моему, пьющий, – заподозрила Нонна Павловна, заметив его оживление при виде спиртного.

– Ей не привыкать, – махнула рукой Пуся.

В детстве девочки дружили захлеб, дня друг без друга прожить не могли. Ссорились яростно, особенно Пуся с Люкой – у тех был темперамент. Мирила их толерантная Тата. В этой команде, да и в жизни вообще, она была центрист и уклонист. Пусе, естественно, отвели место самой умной (так оно и было), Люке – самой красивой (что тоже правда). Тата определялась как самая спокойная и милая. «Милость» ее находили с удовольствием во всем: в миролюбии, доброжелательности, слабой улыбке и чуть припухших веках.

Все три девочки были из разной среды, но в те годы, да и вообще в детстве, этому особого значения не придавали. Даже считалось неприличным подчеркнуть, например, Люкино пролетарское происхождение, Татин достаток и интеллигентность Пусиной семьи. В Стране Советов все были равны. Смешно! Что касается родителей, то Татина и Пусина матери изредка и по делу общались, перезванивались. Правда, до дружбы не доходило. Сводили их дела и взаимная необходимость. Девочки чаще собирались в большой и мрачноватой профессорской квартире у Пуси – говорили обо всем: разбирали учителей, знакомых, мальчиков, обожали молодых актеров, у каждой был свой кумир. Остроумничали. Строили планы на долгую будущую жизнь. Привирали про свой любовный, тогда еще совсем ничтожный опыт, подозревали друг друга в обмане, казнили и линчевали, тайно и неумело покуривали. Словом, жили своей девчоночьей жизнью. Сидели допоздна. У Пуси в семье были демократия и сплошной либерализм.

Нонна Павловна, Татина мать, была спокойна – дочь в соседнем подъезде, а Люкиным родичам было глубоко наплевать, где и с кем проводит время их красавица дочь. Поздно вечером, когда мать Пуси Розалия Львовна пыталась разогнать девчонок по домам и слышала в ответ капризное и решительное Пусино: «Мама, закрой дверь», – она, усмехаясь и качая голо-

вой, бормотала на ходу: «Что устроили по ночам, что устроили, триумвират, ей-богу». Но дочери не перечила.

Люка выскочила замуж раньше Таты. Как говорила Пуся, своего врача она «приперла пюзом». В кафе «Елочка» у метро справили невеселую, скудную и пьяную свадьбу. Глаза у Люки были несчастные, но хороша тем не менее она была необыкновенно. Недружно кричали «горько!». Кафе «Елочка» предлагало салат «Столичный» – картошка, соленый огурец, майонез, все горкой, селедку с подвявшим зеленым луком, резиновый лангет с комковатым картофельным пюре. И много водки. Казалось, что и вправду пропивают красавицу Люку.

Когда вышли покурить на лестницу, Пуся Тате сказала:

– И аборт бы ей Розалия (так она называла свою мать) устроила, и черт с ним, с задатком за эту вонючую столовку, так нет ведь, надо ей замуж выйти и заранее знать, что мыкаться придется.

– Может, любит его? – робко предположила Тата.

– Может! – жестко припечатала Пуся и затушила сигарету.

– Ну не дает Бог все вместе, – опять заступилась Тата.

– Из одного болота в другое. Причем добровольно. С ее-то данными.

Можно представить, что она в этот момент подумала.

После скромной Татиной свадьбы – так, посидели – жизнь особенно не изменилась. Денег Борис, конечно, не носил или почти не носил. Зато открывал холодильник и спрашивал:

– А что, сырок у нас не завалился?

– А у вас? – желчно спрашивала теща. Но он не обижался, посвистывал (дурацкая привычка), что-то напевал себе под нос.

– Ну, значит, помажем просто маслицем, – не унывал он. И сверху дефицитный венгерский конфитюр. Нонна Павловна заводила очи к потолку и яростно хлопала дверью.

Все происходило именно так, как она и предполагала: он громко сморкался в ванной, шаркал тапочками, подкладывал под ванну грязные носки (!), шумно втягивал в себя бесконечный чай. От всех этих звуков она просыпалась и потом в три-четыре утра принимала феназепам, забываясь под утро тяжелым сном. Раздражал он ее безмерно. «Ну хоть бы Татка его любила, – с тоской думала она. – А то как катится, так и катится».

Под майские уезжала на дачу в Голицыно, лишь бы «этого» не видеть. Там ей было спокойнее, а в Москве у молодых – каникулы. Тате вскоре после свадьбы наскучили эти сборища в мастерских. Она на это уже смотрела глазами жены. И приходят туда с девицами, а ведь почти все – женатые люди. И болтают впустую, и завидуют, и осуждают. И мания величия у каждого первого! Надоело. Все это стало утомлять.

А развязка этой истории под названием «Татина семейная жизнь» произошла сама собой спустя три года – как водится, случайно и пошленько. Как в классическом анекдоте, когда кто-то возвращается из командировки. В данном случае это была Тата. Командировка была в Минск, с начальницей – у той в городе была родня. Работать начальнице не хотелось, для этой цели взяла Тату. Принимали их в республике – да здравствует империя! – роскошно: как же, Москва едет проверять! Прием, поход на премьеру. Но свернулись быстро: начальница все это видела-перевидела, а с родней разругалась. Вернулись на два дня раньше. А они даже дверь на «собачку» не удосужились закрыть. Открыла своим ключом. Услышала – вода в ванной льется, дым коромыслом, музыка. Открыла дверь в мамину комнату: там на софе голый Борис, а из ванной выскакивает завернутая в махровую простыню – боже, дай на ногах устоять! – Люка. Смутилась, вспыхнула, залепетала: это у нас в первый раз, всего один раз было, честное слово!

Истинно идиотка.

Около двух часов Тата сидела на кухне в ступоре. Борис суетливо убирал, проветривал, ползал вокруг нее, целовал колени. Тут первый раз в жизни она проявила твердость – выту-

рила его со всеми манатками в течение часа. Где силы взяла? Все собрала, ничего не забыла. Стребала с полок и из шкафа в чемодан и приговаривала: «Чтобы духу не было, чтобы духу...»

«Дух» выветривался сутки, окна – настезь. Брызгала освежителем воздуха «Хвойный». Проверила – ничего от него не осталось, как не было. Стало легче. Выпила стакан водки и легла спать. Уснула, поставив жирную точку на своем браке и своей дружбе. А утром собралась и поехала в Голицыно на дачу. К маме. Нонна Павловна уже ушла из ателье, шила частно и была сама себе хозяйка, приговаривая, что заслужила уже обшивать, кого самой хочется, а не кого прикажут. Дачу свою обожала, разводила только цветы и крупную садовую землянику. Увидев дочь, испугалась ее вида, а услышав рассказ, вздохнула с облегчением и вынесла свой вердикт:

– Баба с возу... и еще спасибо, что это случилось сейчас, а не на закате женской жизни – ты еще сто раз свою судьбу устроишь. А про твою Люку-подлюку мне давно все было ясно.

– Что – «все»? – удивилась Тата.

– Да то, что завистливая. Только глазами и шарил по квартире и по столу.

– Да ты что, правда?

– А ты все спишь, глаза у тебя прикрыты вечно, – разозлилась мать.

– Это разрез такой, – тихо напомнила Тата.

Когда у Таты случались неприятности или стрессы, она все время спала, с небольшими перерывами на перекус и всякие нужды. Вначале Нонна Павловна пугалась, но доктор, хороший невролог старой школы, сказал, что это замечательная реакция организма на стресс – защита. И назвал Тату спящей красавицей.

Нонна Павловна сбежала в сторожку, позвонила дочери на работу, сдержанно объяснила ситуацию и заочно оформила ей отпуск. В кадрах, конечно, поохали, посочувствовали, отпуск дали и понесли по длинным и гулким коридорам статистического управления последние новости про Татину жизнь – все развлечение. Ну в общем, ушел муж к лучшей подруге, а та уже на сносях. Короче, сволочи все et cetera. Словом, не скучали.

Отсидев, а вернее, отлежав и отоспавшись десять дней на даче, Тата как-то довольно легко пришла в себя. Ходили с матерью в лес, набирали мелких лисичек, жарили с картошкой. Сварили любимое крыжовенное варенье на вишневом листе. И потом засобиралась в Москву. Когда электричка отъезжала, Нонна Павловна вслед украдкой Тату перекрестила, чего не делала раньше никогда.

В Москве сразу позвонила Пуське, Розалия с гордостью сказала, что Пуська в командировке в Таллине, что послали ее из лаборатории одну, самую молодую, между прочим.

– Ну а у тебя-то что, Татиль?

Тата поведала последние новости. Розалия поохала и тоже объявила, что Люка «не вашего поля ягода», про Борьку сказала, что и он «слова доброго не стоит, никчемный мужичонка, грошовый во всех смыслах».

– Слава богу, что такая быстрая развязка – уж извини. И даже Пуське, а у нее на этом фронте «не ах» (совсем «не ах», – согласилась про себя Тата), я бы такого, как твой Борька, не пожелала.

Тата сухо попрощалась, слегка обидевшись. Пуська появилась через неделю, забежала наспех, была возбуждена, сказала, что в Таллине был грандиозный «перепих» с одним доктором наук. Пусть без особых перспектив, но все равно – сказка. «Виру», свечи, кофе с пирожными. Люку осудила гневно, а про Борьку бросила: «Забудь». Но вся была в своем романе и триндела только об этом. Потом рассказала, что в лаборатории у нее большие перспективы, ее очень ценят, напечатали ее статью в большом научном журнале, и даже американцы заинтересовались ее темой. И еще, по секрету, что ждет приглашение в Америку на симпозиум. И действительно, через несколько месяцев позвонила и, возбужденно смеясь, объявила, что едет в Бостон, в университет.

Когда Тата спросила про таллинского доктора наук, та сразу не поняла, а когда дошло, отмахнулась – уже забыла. И все спрашивала, что привезти из Америки. Тата попросила грацию.

Но грации она так и не дождалась – Пуся решила не возвращаться. Позвонила Тате из Бостона, сказала, что работой обеспечена лет на десять вперед, а это в Америке главное.

– А родители не главное? – удивилась Тата.

Пуся ответила, что как только появится малая возможность, она их заберет к себе, и на том эту грустную тему прикрыла. Пуся восхищалась Америкой безмерно, сразу и безоговорочно полюбив эту страну. И машины, и магазины, и чистота, и улыбки: «Нет-нет, не вернусь ни за что». Потом, слегка смутившись, попросила не забывать родителей, заходить.

Тата возмутилась: «Я тебя им не заменю!» Но Пуся ее уже не слышала. Так Тата лишилась второй подруги. Невозвращение дочери безумно тяжело переживал старенький академик, отец Пуси Марк Самойлович. Пуся была его единственным и поздним ребенком. Слушать про «нормальную» страну, про «жизненные и профессиональные перспективы», про то, что его умная дочь сделала единственно правильный выбор, – ничего не желал. Всех, кто одобрял поступок дочери, – и слушать не желал, да и тех, кто осуждал, тоже.

Сначала гневался, кричал, плакал. Потом затих, сник и сразу резко сдал. Страдал безмерно. Как это часто бывает, забыл сразу все ужасное и страшное: репрессированного отца, антисемитизм государственный и бытовой, ее, Пусину, женскую неустроенность – все меркло перед его непомерной обидой и болью. Говорил, что эта страна дала ему, нищему еврею из белорусского местечка, образование, кафедру, квартиру, забыв начисто, что всего этого заслуженно и с кровью добился он сам.

Называл Пусю предательницей – не обсудив, не предупредив...

– А ты что, разрешил бы? – ехидно спрашивала умная Розалия. Она-то практичным женским умом понимала, что все правильно сделала ее смелая и умная дочь, прибавив еще себе шанс там устроить как-нибудь и свою личную жизнь. «Америка все-таки», – тяжело вздыхала Розалия. А боль свою и тоску спрятала глубоко-глубоко, никому не видно.

Через полгода от инфаркта умер Марк Самойлович, и вслед за ним начала потихоньку угасать и сдавать Розалия. От Пуси приходили какие-то клочки, обрывки – как зашифрованные записки. Понять, что у нее происходит, было сложно.

Но грянула перестройка, и изменилась вся жизнь. Татину контору стали сокращать. Все начало стремительно и в корне меняться. Клиентов у мамы прибавилось – достать готового ничего было нельзя. Но и шить стало не из чего, и стали перелицовывать, переделывать – мудрить, одним словом. Лишь бы выжить. Выживали.

Впервые посадили на участке зелень, редиску, кабачки, морковь, но потом поняли, что все это не имеет ни малейшего смысла. Вырастить – труд огромный, а стоит все равно копейки. Погоды не делает. Помогали выживать и старые материнские связи – теперь без них совсем никуда.

Про Бориса Тата ничего не слышала. Старых знакомых не встречала, на выставки не ходила – как будто не было той жизни вовсе.

И еще странность – живя в одном дворе, ни разу не встретила Люку, вот уж бог миловал. Видела, правда, ее мать, постаревшую, с коляской. То ли Люка второго родила, то ли ее сестрица. Знать не знала, да и шут с ними.

А у самой в жизни ничего не происходило. Ну совсем ничего. Так как-то и полуспала под теплым маминым крылом. Ходила к Розалии, та совсем сдала, запустила себя, была уже без маникюра, в халате, неприбранная. Тата носила ей продукты, утешала как могла, говорила, что летом вывезет ее с мамой на дачу в Голицыно. Розалия слегка оживлялась. Но до лета не дожила. Умерла тихо, во сне, никого не побеспокоив.

Дети! Дети! Прокладывайте себе смело дорогу! Грудью вперед! Ведь цель оправдывает средства! Но не оглядывайтесь. Там – грустно. Там – брошенные вами ваши же старики. Там – их скучная, безрадостная жизнь, состоящая только из ваших скупых писем и еще более редких (дорого!) звонков. Но для вас (а главное – это вас не расстроить), для вас они будут держаться и крепиться изо всех сил и бодро рапортовать в телефонную трубку.

И непременно, непременно будут оправдывать вас (а кто не пытается оправдать свое дитя?). А какая у них, одиноких и покинутых, будет здесь жизнь, будут знать только они сами и еще ваши друзья (они под их присмотром, так вы успокаиваете свою совесть). Они же и отнесут их на кладбище и бросят горсть земли. Они, а не вы! Так что не оглядывайтесь назад. Там – грустно. Там могилы ваших родителей, оставленных вами. Но у вас же была цель, а она, как известно... Хотя, как показала жизнь...

А потом, когда жизнь повернет на триста шестьдесят градусов, вы, слегка растерянные, но тщательно это скрывающие, будете приезжать сюда, обратно, и удивленно видеть здесь все то, к чему вы так стремились и ради чего уезжали. И какой ценой заплатили? (Знаем, знаем, заплатили сполна.) Вы будете задавать себе настойчиво один и тот же вопрос: а надо ли было все это делать? Когда такой кровью. И обязательно, почти уверенно будете утверждать про себя: ну конечно, ведь ради детей! Ну а дети, разве они оправдали? Бросьте, бросьте, почти никогда и почти нигде они не оправдывают наших надежд, не надейтесь! И вы стали ездить на дорогие могилы, долго стоять там и молчать. О чем вы думали тогда? А потом ставили дорогие гранитные памятники и нанимали жуликоватых кладбищенских теток следить за могилами, где наконец отболели сердца ваших стариков и где успокоились они. Теперь вы были хорошими детьми. Теперь это было легко.

Нонна Павловна удивлялась темпераменту (а вернее, его отсутствию) у дочери – ведь молодая женщина, хотя, наверное, слава богу, слава богу. А то как вспомнит свои вдовьи терзания, врагу не пожелаешь. Жили вдвоем, тихо, мирно, почти не грызлись. Доставали что-то, делились с соседями, обменивались. Словом, приспособивались. Да что там жили, так жила тогда почти вся страна.

А потом случилась беда: на даче, в июле, на Татин день рождения, выносили на веранду стол да задели углом стекло, осколок стеклянной двери (ах, если бы стол был круглый) перерезал Нонне Павловне руку, сухожилие, правую, кормилицу. Спасибо, Господи, жива осталась. Год по больницам, все без толку, ничего не помогло. Инвалидность. И Тата стала старшей в семье. С работы ушла – там не платили совсем. И тут соседка по площадке, молодая, да ранняя, одинокая, с маленьким сыном, уговорила Тату ездить в Польшу. Тогда ездили многие.

– И денег привезешь, и приоденешься. Два раза в месяц съездишь на три дня – потом живи в полный рост! Я тебя возьму, всему обучу, за руку водить буду. Не то что я – сама все, сколько раз мордой об стол.

Лерка была чужая, грубая, слишком рьяно убеждала Тату, а сама, конечно, имела свой шкурный интерес. При этом раскладе Нонна Павловна оставалась сидеть с ее сыном Вадиком. Сама Лера была из Тулы, тащить туда парня к родителям было, конечно, неудобно.

У Таты выхода не было. Согласилась. Поехали поездом в Белосток (в Варшаву дороже). Везли какую-то муть: мясорубки, утюги, чесночницы, детские игрушки, шпроты, кофе, бульонные кубики – все, что достали. В Польше уже все было, но страшно дорого. Почти недоступно, поэтому на наших «челноков» налетали стаями и моментально все расхватывали. Особенно у таких, как Тата. У рынка она как-то замешкалась, от Леры оторвалась, и тут же ушлые польские тетки увидели в ней новичка, растормошили ее багаж, сами назначили цену, убедили, что все «добже», а она, радостная, что так лихо от всего избавилась, пошла гулять по городу, очень довольная собой.

Лерка долго искала выгодное место, почти подралась за него и торговала до закрытия. Вечером назвала Тату «придурочной» и обложила семиэтажным матом. В следующий раз посадила рядом с собой на брезентовый стульчик рыбака – жизни набираться.

Вечером в гостинице (упраздненный пионерский лагерь – душ, туалет на этаже, но чисто) заварили бульон из кубика, нарезали сухой колбасы, попили кофейку, подсчитали прибыль. Тата заработала пятьдесят долларов, Лерка – триста. Тата смеялась: ну хоть не в минусе. В поезде удивлялась публике, ехавшей в Польшу торговать. Таких, как Лерка, вовсе не большинство, в основном инженеры, врачи – словом, те, кто остался не у дел. Ездил с Леркой два раза в месяц, но Лерка страшно раздражала, да и с мамой разговаривала как с прислугой.

– Вот они, лимита, – обижалась Нонна Павловна, – вышла за москвича, его же из квартиры выперла, на нас с тобой покрикивает – за дураков держит.

Вечером после поездки довольная результатами Лерка звала посидеть. Это называлось «по коньячку». Разговор был нелепый и нудный – про тряпки, бывшую плохую свекровь и, конечно, деньги, деньги, деньги. Тягостно все и противно.

В Польше, правда, завелся небольшой роман – так, романчик. Познакомились они с Владеком прямо на рынке, там же, на рыбацком стульчике. Она сидела по щиколотку в пыли, в старом сарафане в крупный горох, усталая и неприбранная, а ведь подклеился. Сначала думала, что из Москвы ему что-нибудь нужно. Потом поняла – нет, никакой корысти. На машине отвез ее в банк с выгодным курсом поменять заработанные злотые на доллары, показал город, напоил кофе в кафе. Сам интересный, молодежавый, седой как лунь, в стильных очках в металлической оправе. Взял московский телефон. Обещал в следующий раз встретиться поезд.

Лерка зеленела от злости и, со своей простотой, той, что хуже воровства, и с бабской тоской оглядев Тату с головы до ног, процедила сквозь зубы:

– Господи, да что он в тебе нашел, помоложе, что ли, нет?

Имела в виду, видимо, себя.

Он и вправду звонил в Москву и потом встречал в Белостоке. После «бизнеса», как он называл Татино предприятие, приезжал за ней, возил в банк, кафе, а уже потом в квартиру брата, пустую, разумеется. Был, конечно, женат. Жена занимала какой-то крупный пост, что-то в мэрии, как поняла Тата. Владек смеялся и говорил, что жена ходит «в прическе и в пиджаке» и вообще она строгая дама. «А вот детей и счастья нет», – добавил он однажды грустно.

Так продолжалось примерно около года. Но как-то раз позвонил встревоженный, сказал, что жене «донесли» и что он «еле-еле вымолил прощение». Тата удивилась:

– А зачем? Переезжай в Москву, места хватит, и работа у тебя будет, ты же строитель!

Он страшно возмутился и даже обиделся:

– Как уйти? А дом? Как оставить? Только ремонт сделал: окна финские, подоконники мраморные, плитка итальянская, кухня на заказ – ждал три месяца, а встроенные шкафы, тоже на заказ, между прочим... – Он долго не мог успокоиться и что-то еще припоминал из сделанного ремонта.

Но Тата уже повесила трубку. Польша закончилась. Началась Турция. Там, слава богу, все обошлось без романов. Хотя только бровью поведи. Да это и так понятно. Из Турции везли кожаные куртки, длинные, короткие, на тяжелых «молниях», неподъемные. Тащили на себе, волокли по Стамбулу в черных вонючих пластиковых мешках. Присаживались на них же – покурить. На такси денег было жалко. Обливались потом, на пыльных ногах резиновые «вьетнамки». Огляделись и увидели: на улице, за столиками кафе, сидят туристы – в легких светлых брючках и маечках, курят, пьют настоящий турецкий кофе и холодный сок из запотевших стаканов, не торопясь, с удовольствием, покачивая ножками в легких сандалиях. «Как люди, господа! А мы?..»

Лерка злобно комментировала:

– Сейчас нагуляются, вечером мясца в кабаке пожрут, тряпок не на рынке, в магазине прикупят, а на ночь – в отель, под кондиционер, да с хорошим мужичком... А мы с тобой сайру в спорем, с чайком и хлебушком, суп-письмо заварим и рухнем в койку без всякого кондиционера. И на хрена нам нужна ихняя «дермократия»?

И, вздохнув и ввалив свои тюки, поплелись они, причитая, в свой отель (одна звезда). Но душ и туалет есть – уже счастье.

Но вскоре и в этот «бизнес» пришли здоровые и бритоголовые мальчики с огромными ручищами, возившие не по сумочке в каждой руке, а огромными, необъятными баулами, – и вытеснили бывших итээровцев и врачей. В общем, Тата была издергана до предела: то багаж в аэропорту пропадет, то в Лужниках куртку из-под носа уведут. Стала много курить, похудела, плохо спала ночью. И когда это все как-то само собой закончилось, были рады и она, и Нонна Павловна. Правда, на что будут жить, понимали смутно.

Однажды пошла в поликлинику, отнесла мамины справки во ВТЭК – все время что-то переоформляли – и в дверях столкнулась с Люкой. Та смутилась, голову опустила и бочком в дверь. Все, что Тата успела заметить, – это старое, выношенное стеганое пальто, резиновые боты на ногах, дурацкую косынку на голове. В общем, тетка и тетка, никакой небесной красоты. У мамы спросила:

– Что, все в поликлинике работает?

– А куда ей деваться? Муж ушел, отец и бабка померли, остались старуха-мать и сестра бестолковая, тоже с дочкой без мужа, да своих двое парней – все на Люкиных руках. Вот и бегают по уколам. Ее жалеют – кто тряпки отдаст, кто еще что подкиннет. А ведь какая красавица была, – вздохнула Нонна Павловна.

– Мам, ты что, все забыла, жалеешь ее? – возмутилась Тата. – Это ей в наказание за подлость.

– Ой, оставь, дела давно забытых дней. Чего в молодости да в безмозговье не бывает. А нам за что? Тоже ой как несладко. – И добавила, прищурясь и качая неодобрительно головой: – А ты злопамятная, Татка.

И подумала: «Ох, устроила бы дочка жизнь, и Борьку бы этого малахольного (где он теперь?) забыла, и Люку-подлюку, несчастную бабу, только бы пожалела, и посмеялась бы над этой историей, а так...»

И опять пришлось выживать. Продали последнюю ценность – торшер в стиле модерн, начало века. Потом отнесли на Арбат, в скупку, серьги Нонны Павловны – бриллиантовую «малинку». Как-то растягивали, а через год примерно Тата встретила институтскую подружку Машку Воронову. Машка выглядела роскошно – и лицо, и волосы глянцевые, и шуба, и сумка... В общем, видно, что у человека все хорошо. Тата Машкой залюбовалась.

– От тебя, Машка, один сплошной положительный импульс, – радовалась Тата.

– А у тебя, у тебя-то что слышно?

– Жаловаться неохота, а хвалиться нечем, работы нет, да и вообще.

– Слушай, ты – идиотка. Сейчас хорошие бухгалтеры как воздух нужны. Столько фирм открывается! А ты сидишь сиднем. Беги на курсы, а потом я беру тебя к себе на фирму.

– Господи, на какую фирму? – удивлялась ошарашенная Тата.

– А тебе не все равно? – смеялась в ответ Машка.

– Да, в общем-то, ты права.

Стали перезваниваться, Машка направляла, инструктировала. Тата окончила курсы, и Машка сдержала свое слово. Машка была вторым браком замужем за немцем-документалистом. В ту пору росли как грибы совместные предприятия. Занимались всем подряд – от продажи вертолетов до производства горчичников. Только начиналась реклама, и умная Машка штурмовала телевидение, а тихий, безобидный немецкий муж реализовывался в своем никому

не нужном документальном кино. С Машкой они друг другу не мешали. Объем работы у Таты был большой, но и платила Машка щедро.

– Дай ей бог здоровья, – молилась за Машку Нонна Павловна.

Теперь она потихонечку захаживала в церковь, а Тата уже носила блузки и строгие деловые костюмы, туфли-лодочки. Надела чуть придымленные очки – цифры, цифры. Опять поправилась – сидячая работа. Многому научилась у Машки. Полюбила ездить в октябре отдыхать на Кипр, про Турцию слышать не хотела. Первый раз в жизни, наверное, чувствовала себя уверенно и спокойно. Часть денег отдавала матери – та, наученная горьким опытом, откладывала. В общем, жизнью обе были вполне довольны.

Вот в это самое время и объявилась Пуся. Позвонила и трепалась два часа (не волнуйся, у нас это копейки). Плакала, вспоминала родителей, безудержно благодарила за все Тату, возбужденно описывала свой двухэтажный дом на Лонг-Айленде, болтала без умолку.

Тата нервничала, смотрела на часы и в сотый раз спрашивала:

– Тебе это недорого?

– Денег куры не клюют, оставлять некому. – И, помолчав, добавила: – Я сволочь последняя, за все плачу, я знаю, что ты для них сделала. Я твой вечный должник, вечный, Татка. Приедешь ко мне, у меня такой роскошный дом, в таком районе, у нас главное – район. И повар, и садовник, и прислуга – я богатая женщина, Татка. У меня свой бизнес. Идет так, что даже через плечо плевать не буду. Если завтра рухнет – черт с ним, на мой век хватит, все не проживу. Бог детей не дал за мои грехи.

– Да и мне, между прочим, тоже, – тихо напомнила Тата.

Пуся стала звонить каждую неделю, висела по часу, вспоминали детство, юность, строили планы Татиной поездки. У Таты в ушах переливались, звенели удивительные слова: Калифорния, Лас-Вегас, Атлантик-Сити, Гавай.

– Поиграть любишь?

– Во что? – не понимала счастливая Тата. Пуся заливалась смехом.

– И вообще, останешься у меня, маму потом выпишем. Немного ведь у нас лет с тобой на свете. Ты мне как сестра, родной человек.

Требовала, чтобы Тата уволилась с работы.

– Успею позже, – отвечала Тата. Но уже жила поездкой, строила планы, перебирала вещи в шкафу, подгадывала с годовым балансом, обсуждала это с Машкой. Машка отпустила на два месяца. Друг! Но просила в «Америках» мобильный не отключать – ни днем ни ночью. Мало ли что!

Но потом как-то странно звонки начали «редеть», то ли Пусин пыл стал спадать – непонятно. Постепенно, сначала по чуть-чуть, а потом вообще исчезла – три недели не звонила. Телефон не отвечал. Тата наговаривала на ответчик – тишина. Странно, все так странно.

Говорили об этом с мамой сначала постоянно, потом как-то реже, пожимали плечами, строили предположения: может, командировка, может, больница, – но чувствовали обе, что здесь что-то не так, не сходится, не поддается ни логике, ни объяснению.

– Пуська бы позвонила и все объяснила. Ну нет такого, что бы она объяснить мне не смогла.

В голову лезли самые черные мысли.

– Ну забудь, значит, передумала, знаешь, как время меняет людей! Пуська твоя через родителей перемахнула, а тут – ты. Может, подумала, денег пожалела, может, жизнь свою менять не захотела, на черта мы ей сдались. Сначала эмоции, наобещала горы, потом – разум. А у Пуси разум всегда и везде, забыла? – вещала мудрая мама.

– Нет, – не соглашалась Тата, – здесь что-то не то. – Но повздыхала и с этой историей простилась. А сколько их было в жизни, этих надежд и историй? Собственно, с Пусей она простилась давно, еще тогда.

А тут еще объявилась Люка, словно вместо Пуси. Позвонила – Тата ее сразу не узнала. И давай рыдать: просила денег – откупить старшего сына от армии. Говорила и просяще, и требовательно одновременно.

– Ну что для тебя две тысячи баксов? Деньги? – взывала к совести Люка.

Тата задохнулась от возмущения:

– Как ты вообще могла мне позвонить и еще денег требовать? За всю жизнь времени не нашла покаяться! – негодовала Тата. – Меня твои проблемы не касаются!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.